

Слово Донбасса

Александр Можяев

СУДНЫЙ ДЕНЬ



Слово Донбасса

Александр Можаяев

Судный день

«ВЕЧЕ»

2025

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

Можаев А. Н.

Судный день / А. Н. Можаев — «ВЕЧЕ», 2025 — (Слово
Донбасса)

ISBN 978-5-4484-5382-3

Новая книга известного русского писателя Александра Можаева рассказывает о братоубийственном конфликте на юговостоке бывшей Украины. Это рассказы изза «черты», которая автору знакома не понаслышке. Война сорвала с обжитых мест десятки тысяч людей. Ктото испугался, ктото смирился, но большинство решило бороться – за себя, за семью, за родной дом. И не будет отныне ни покоя, ни жизни пришедшим с Запада новым фашистам – бандеровцам, «айдаровцам» и прочей нечисти, пока последний из них не ляжет в русскую землю.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-5382-3

© Можаев А. Н., 2025
© ВЕЧЕ, 2025

Содержание

Судный день	6
Поезд	9
Чиканы	14
Умирала баба Стеша	23
Мокушка	29
Иван Сарвилович	31
Балерина – баба Лёля	38
Людка солдатка	41
Последний нынешний денёчек	43
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Александр Можаяев

Судный день

Серия «Слово Донбасса»



© Можаяев А.Н., 2025

© ООО «Издательство «Вече», 2025

Судный день

Вот уже второй месяц пошёл, как Валентина не выходит из дому. Как людям в глаза смотреть, когда случилось такое?..

«За что Господь наказал меня? – в отчаянье думала она по ночам, перебирая в памяти все свои прегрешения, и не находила такого, за которое могла последовать столь жестокая кара. – Уехать бы куда-нибудь с глаз долой от людей, да только от Бога не спрячешься...»

К ней, как к прокажённой, почти никто не приходил. Пару раз зашла соседка баба Люба. Словно оправдываясь за свой приход, говорила:

– А я гляжу – нет и нет тебя... Думаю, живая ль...

– Не знаю... – честно признаётся Валентина.

Когда-то, в прежней далёкой жизни, сын бабы Любы и муж Валентины работали на одной шахте, дружили, в один день и погибли в забое. Видимо, это и роднит их сейчас.

– Может, чего надо? – спрашивает баба Люба.

– Ничего не надо...

Баба Люба внимательно рассматривает Валентину, потом назидательным тоном старшего говорит:

– Не нравишься ты мне, бабонька. На тебя уж смотреть страшно...

– Чай не мёд, дитя похоронить... – неожиданно для себя самой отвечает Валентина.

– Колька, что ль?! – вскрикивает баба Люба.

– Вовчика... Колька, слава Богу, живой.

– И давно ж ты Вовчика схоронила? – строго допрашивает старуха.

– В один день с Сашкой Глушко...

Баба Люба долго с изумлением смотрит на Валентину, словно и не знала её до сей поры.

– Вон оно что... Схоронила значит?.. – произносит она сурово. – Ты себя не кори, бабочка. Нет здесь твоей вины. Кажен в посёлке знает, как ты жили рвала, тянула их без мужа, на двух работах спины не разгибала. Кто ж виноват, что оно таким уродилось...

– Я ж и виновата... – наконец, осознав свой грех, вздыхает Валентина. – Кольке легче, он отца застал, на его примере рос... А я... Какой с меня воспитатель?.. Прибегу со второй смены, стелепаю что-то поесть и упаду неживая без задних ног до утренней смены. Об одном лишь и думаешь: чтоб накормленным был и чтоб одёжка не хуже, чем у людей... И на другой день и на третий... Колыбельную спеть некогда. А сказки ему уж телевизор рассказывал...

– Ну, так вот, слухай... Ты, подруга, так себя не накручивай, – вновь строго наказывает баба Люба. – Не накручивай, а то подохнешь и Кольку своего не увидишь. Я зараз с дедом в магазин еду, давай хоть муки тебе прикупим.

– Купите... – соглашается Валентина и тоже оправдывается: – А то Николай приедет, а мне ему и пышку не с чего спечь...

Старшенького Николая ждёт она ежечасно, ждёт, как последнюю надежду на спасение. Он воюет под Бахмутом, в казачьей бригаде, и от него долго уж нет никаких вестей. Ночами она вслушивается в далёкую канонаду, вздрагивает от каждого разрыва. Всё ей кажется, что все снаряды нацелены на её Коленьку. Она спешно шепчет молитвы, просит Господа сохранить его для неё.

«Вот приедет Коля, Коля умный, он всё правильно рассудит...» – успокаивая себя, с надеждой думала она, прежде чем забыться в тревожной дрёме.

В мыслях она пыталась придумать нужные слова, которые скажет Николаю при встрече, но всё, что она проговаривала про себя, тут же казалось пустым и несостоящим.

Наконец Господь услышал её молитвы, дверь распахнулась, и в комнату вошёл Николай, весёлый и бодрый, как в обыденной жизни. Бушлат нараспашку, папаха лихо заломлена на затылок.

«Значит, ещё ничего не знает», – повиснув у него на шее и выцеловывая колючие щёки, догадалась она.

– Я на часок всего, мама, на минутку... – смущённо бормотал Николай. Смахнул с головы папаху, не глядя швырнул её на вешалку. – Мы проездом тут... Вот заскочил...

– Ох, да что же я... – спохватилась Валентина.

Налила борща, поставила греть.

– Хлеба нет. Сейчас пышку спеку...

– Что, к вам хлеб до сих пор не завозят? – удивился Николай.

– Завозят. Да я уж привыкла пышки... Помнишь, тебе в детстве нравились пышки?..

– Нравились... – улыбается Николай.

– Что тут в посёлке нового? – спросил за обедом Николай.

– Да какие там с меня новости... – растерялась Валентина. – Я ж тут на отшибе, с дерезы не вылазю...

Она уж пожалела, что не стала делиться с сыном своей бедой, но тот задал новый вопрос:

– Как там наш «укропчик»?

Она давно ждала этот вопрос, но всё равно он застал врасплох. Валентина вздохнула и промолчала.

– Звонит?

– Звонит... – снова вздохнула она.

– Ну?

– Он там совсем умом тронулся...

– Меня поминает?

– Поминает...

– Ну и?..

– Грозит... Орками нас называет...

– А сам кто? – усмехнулся Николай.

– И я ему про то... Обижен на весь белый свет.

– Чем же мы его разобидели? – с вызовом спросил Николай.

– А-а... – махнула рукой мать. – Всякие обиды придумывает, а обиды те глупые и пустые... Всё пустое... – повторила она. – То не так его приветили, то слово не то сказали... Всё припомнил... Никто, мол, не любит его, не почитает...

– А там, в «Азове», стало быть, его уважают? – усмехнулся Николай.

– Там он в почёте. «Все вы тут, – говорит, – тупое рашистское быдло, орки... Орками нас называет... – повторила она. – Всё грозитя с тобой повстречайся. Мол, я этого орка... А я ему: «А сам ты, Вовчик, не орк? Уже забыл, кто ты родом? Забыл, как Колька тебя с малечку вынянчивал, с рук не спускал?..» А тот как безумный – ничего не слышит. Только своё...

– Ма, не бери дурное в голову. Это и в сам деле пустое. Перемелется...

– Это-то да... – согласилась Валентина. – Это пустое... Тут беда, так беда... Он, Коль, такое... Я скоро сама очумею. Уж и не знаю, говорить тебе или нет... Не скажу, так сам же узнаешь. В посёлке все до единого знают... Я и за хлебом к магазину не хожу, чтоб людям в глаза не глянуть... Беда...

– Что ещё? – вздёрнул голову Николай.

– Ты ж Людку Дрюкову знаешь...

– Чего ж не знать – знаю! Вовчик за ней ухлёстывал.

– А она замуж за Сашку Глушко пошла...

– Во, как жизнь напутляла... – задумчиво произнёс Николай. – За одной партой сидели, Вовчик его «хохлёнком» дразнил. «Хохлёнок» с нами ушёл, а Вовчик... Во как! – словно дивясь своим словам, повторил он. – Сашка со мной в одной роте. Его под Клещеевкой ранило, не успел отойти, в плен попал... Ничего, обменяем. Мы ихних тоже нахватали...

– Не обменяете уж... Вовчик...

Валентина вдруг заголосила. Растрепав волосы, мотала головой, как от наваждения махала руками.

– Ну, ну, чего ты? – обняв за плечи, прижал её к себе Николай. – Что там?

– Вовчик изгалялся над ним...

– Ну, это у них, как правило...

– Коля! Он ему живьём голову отрезал! – закричала она, отшатнувшись от сына. – Он... он...

– Ну что ты, мам, что ты такое?.. – вновь прижал её к себе Николай.

– Коля, – выбившись из сил, Валентина перешла на шёпот. – Он заснял всё, и видео Людке прислал. Весь посёлок пересмотрел и мне показали... Вот, мол, смотри, мать, чего воспитала!.. Как я досмотрела это, не знаю. Одурела, хоть в гроб ложись... Коленька, как жить после этого?.. Если б не ты у меня – руки на себя наложила б...

Они долго сидели молча. Николай тупо смотрел в окно, она на потрескивающую лампадку под иконой Спасителя. Потом Николаю позвонили.

– Сейчас еду, – сказал он, хриплым чужим голосом, но какое-то время ещё продолжал в раздумье смотреть в окно.

Наконец он поднялся. Долго, как слепой, шарил рукой по вешалке, не мог найти своей папахи.

– Ты ничего не ел... – прошептала мать.

– Да я не голодный. Там нас хорошо кормят...

Постоял немного в раздумье.

– Что ж, хочет со мной повидаться?.. – вновь глядя в оконную даль, тихо произнёс он. – Повидаемся...

– Коля! Коля!.. Что ты придумал?! – совсем обезумев, закричала мать. – Даже думать не смей! Кто мы такие, чтоб осуждать чужой грех?.. На это суд есть. Божий и людской... А ты не смей!

– Я ему и буду судом...

– Коля! Смерти моей хочешь?..

– Мам...

– Обещай матери, что не тронешь!.. Ну, не молчи, обещай!.. – трясла она его за край бушлата. – Пусть кто угодно, но не ты... Обещай...

– Обещаю... – оглохшим голосом выдавил из себя Николай. – Не трону... Людке приволоку – она его без ножа раздерёт на части. И ты вот что... Ты глаза от людей не прячь, у тебя я есть...

Сквозь оконное стекло она видела, как сгорбившись, пошатываясь и спотыкаясь, Николай брёл к калитке. Папаху сползла ему на глаза, и он плохо различал дорогу. Пока он не скрылся с глаз, она успела несколько раз перекрестить его, потом тяжело повалившись на стул, уронив голову на руки, долго по-звериному скулила и выла, плакала до икоты, до спазм в горле, до дикого кашля, но слёз уже не было.

Поезд

Светлой памяти Николая Шипилова

Скажите, доводилось ли вам когда-нибудь ездить в Чеботовском поезде? Даже не слышали о таком?! Бедный, несчастный мой собеседник. Кто не ездил Чеботовским поездом, тот навряд ли знает Россию. Впрочем, может, я и не прав. Я познавал её лишь по своим доступным приметам, и она у меня своя.

Уже давно нет той железной дороги – растащили на металлолом, и поезд мой ушёл на свалку, а я всё мчусь по пьяным ухабам России в своём древнем разбитом вагоне. Трещат рубахи, хрипит в диком мате мой сумасшедший вагон; и лишь смежаются веки, клонится в забытья голова, юродивый Ваня треплет меня за плечо, улыбается беззубым ртом.

Давай-давай, братва, не унывай, братва,
И голосуй, братва, за прошлогодний снег... —

нервно выкрикивает свои куплеты.

Измученный, смотрю на него в упор; пытаюсь прогнать наваждение, но в моём воспалённом мозгу навеки перемешались бред и реальность.

Ревизия в нашем поезде всегда случалась на первых минутах пути. Уже через четверть часа пойдут заводские остановки. Народ там всё больше беспокойный, – не угадаешь, что может выкинуть. На заводских полустанках давно уж за ненадобностью убрали билетные кассы, и, чтоб не искушать судьбу, ревизоры и милиция загодя покидают поезд.

Едва скрипнули колёса и, качнувшись, поплыл за оконными стёклами перрон, в вагон вошел невзрачного вида пожилой мужчина. Достав из старой затёртой папки красную повязку, он надел её на руку, неспешно разгладил края, и внезапно преобразившись, объявил зычным командным голосом:

– Приготовить билеты!

Пройдя меж рядов, ревизор быстро обнаружил «зайцев»: длинновязого лохматого парня и его размалёванную спутницу.

Ничуть не смущаясь, парень, раскинувшись на своём сиденье, с вызовом и усмешкой разглядывал контролёра.

– Уплатите штраф! – коротко объявил тот.

– Ты чё, в натуре?.. – удивлённо тарачился на него парень. – Опаздывали, не успели взять...

– Все так говорят, – не думая сходить с места, спокойно отвечал ревизор. – Билеты брать не хотят...

– Во даёт! – парень встряхивал своей гривой и в горячке говорил таким тоном, словно всем абсолютно понятно, что на него возводят напраслину. – Да-ё-ё-т... Стал бы я тут с тобой из-за полтинника базар разводить!..

– Штраф... – не отступал ревизор.

С незапамятных времён наш народ носит в своей крови нелюбовь к карающим органам. Для него нет большой разницы: милиция это, контролёр или несговорчивый вахтёр в женском общежитии.

– Во въедливый!.. – послышались голоса. – Люди может и вправду спешили... Теперь с них три шкуры драть...

– А что ему до того, что ты со смены бегишь, – он только и ждёт, чтоб не успел обилетиться. Иначе, какой же ему навар, если всё благополучно...

– Эти, что ль, со смены летели? – весело шевельнул своими прокуренными усами какой-то рябой от застарелой оспы старик. Но его никто не услышал.

– Попристраивались при поездах, а работать – кто-нибудь... – роптал вагон.

Контролер никого не слышал. Сутулый пожилой человек держал перед собой на вытянутой руке компостер. Ждал.

Парень тоскливо глянул в окно, – до завода ещё далеко, значит, не скоро отвяжется.

– Может, вызвать наряд? – предложил контролёр.

– Стасик, да заплати ему – пусть отцепится, – наконец проговорила девушка.

– Ладно, отстегну трёху, пусть ест, – доставая деньги, криво усмехнулся тот. – Квитанции не надо – оставь на старость...

Ревизор взял деньги, аккуратно заполнил квитанцию, протянул пассажирам, те отвернулись к окну. Положив квитанцию на колени девушки, он тихо вышел.

– Вот погань, – всё ещё не оборачиваясь, сказала та и брезгливо смахнула квитанцию на пол.

– Не мои дети, – я б им «отстегнул»... – снова заворчал рябой старик.

Его старуха, поймав долгий взгляд Стаса, дёрнула старика за рукав, зашептала скороговоркой:

– Молчи, оно тебе надо... Влипаешь...

Закачался вагон, гудят по проходу тяжёлые ботинки и керзачи; гам, шум, смех, мат – заводская братва садится.

Огни барачные, да морды мрачные

Да морды мрачные – куда ни кинешь взор...

Протискиваясь сквозь толпу, движется по проходу со своею гармоникой всем известный дурачок Ваня Шлак. Он знает в этом поезде каждого и каждый знает его. Любит народ Ваню, без него и поезд не поезд, и дорога длинней.

Я знаю Ваню больше других, вместе учились в университете. Уже тогда в нём неожиданно проявилась чудинка. На четвёртом курсе овладела им мало кому понятная блажь – стал проситься добровольцем в Афган. Там, где-то под Урузганом, его и контузило. Перемешались в голове все его умные книжки – с тех пор не угасает улыбка на Ванином добром лице. Да и не Ваня он вовсе, не Шлак, но разве важно, как его звали в прошедшей жизни.

– Здравствуй, Ваня, – говорю я ему.

– Здравствуй, – радостно улыбнётся в ответ.

Нет у Вани ни родни, ни дома. Кроме креста, под рваной рубахой да подаренной кем-то гармошки – нет ничего. Для него каждый встречный – родня, и поезд наш – ему дом. Здесь его и приветят, и покормят, и слово доброе скажут. Тем и счастлив.

Шумит поезд, хрипит сотнями голосов, звенят стаканы – не слышно стука колёс.

Напротив меня упал на сиденье какой-то растерзанный мужичонка: воротник оторван, на бушлате одна чудом удержавшаяся пуговица, на лице отметины давних и ближних сражений.

– Шалого знаешь? – глядя на меня стеклянными глазами, грозно спросил он.

Я не ответил, перевёл взгляд на рябого старика. Тот оживился и, придвинувшись ко мне, тихо по-свойски заговорил:

– Нас отцы в совести воспитали – Боже упаси на чужое зариться. Щас, видал, чего вытворяют? – кивнул он на место, где недавно сидели выявленные контролёром «зайцы». – Плюнь в глаза – им Божья роса. Я как приехал в город в ФЗУ поступать – в первый раз трамвай увидел. Сел, кондуктор: «Купляйте билеты». Купил. Остановку проехали, люди кто вышел, кто новый вошёл. Кондуктор опять: «Покупайте билеты». Я снова купляю. Следующая остановка. «Не забывайте билетик купить». Стыдно не купить, а ехать через весь город. Так я за раз все гроши,

что мать дала, и прокатал в том трамвае. Последнюю остановку не доехал – пешки пошёл. Характер у меня такой: чтоб дать – пожалуйста, взять – упаси Господи...

– Он у меня дурак вроде Вани, – комментирует его старуха.

– Бывало, квартировал в городе, – продолжает старик. – Время голодное; стипендия двести рублей, а булка хлеба – сто. Хошь сразу умни, хошь по частям – седно голодный. Привезу от матери оклунок картошки – на месяц. Сваришь «мундиры» для экономии, соль, лук... Сяду вечерять, а хозяйева глянут, глянут, да скорей отвертаются. А мне не по себе, словно украл. Давай их зову. Две недели проходит – нет картошки. Вот они меня кличут. Супик какой-либо стелепают и кличут. Я ни в какую. У самого кишки пляшут, а не могу. Это седно, что обобрать людей. Им самим жрать нечего, – тут ещё ты, нахлебник. На улицу выбегу. Мороженое – лёд подкрашенный, благо дешёвое. Набью живот, приморожу кишки – легче...

– Нет, батя, ты конкретный дурак, – не оглядываясь на старика, дышит мне в лицо перегаром Шалый. – Конкретный...

– Он у меня весь век такой вот – дуралей, – подтверждает старуха. – И зубы порастерял, и язву нажил... Бывало, ботинки сошьёт из старых солдатских халяв – не нарадуется им. Бережёт – лишний раз ступить дорожит...

– А кого виноватить – время такое было, – смутившись, оправдывается старик. – Всем так жилось.

– Нет, не всем! – неожиданно рявкает Шалый – Коммунякам и тогда жилось!..

– Ты лучше поглянь, как нынешние «демократы» прижились – коммунякам и не снилось так... – слышались голоса.

– Порастеряли срам, – соглашается рябой старик. – Сталина б на них надо...

– Во, ещё один «сталинский сокол» откопался, – подключаются новые голоса. – Хватит, побоговали...

– А ему, может, угодил Сталин. Хе?

– Мне Сталин не угождал, не для того он был, – снова посмотрел мне в глаза и, как бы обращаясь лишь ко мне, одному сказал мой попутчик.

– Чтоб ты ему угождал?

– Для порядку. Чтоб не разнуздывались...

– По старым порядкам соскучился?

– А порядок, каким бы он ни был – лучше, чем беспорядок, – спокойно отвечал старик. – Мне что Сталин, что Берия, что Маленков... Я их дел не знаю. Но время их добрее в нас было; совесть в людях жила. Я б если не успевал билета купить, сроду б в поезд не сел, пусть хоть пожар горит...

– Этих коммунистов давно надо передавить как клопов, – лихо мотнул чубом какой-то подвыпивший мужичок. – Позасели кругом, присосались и тормозят...

– Ты гляди, давилыщик отыскался... – распаляется поезд. – Чтоб тебя не придавили. Вынырнул недобиток...

– Вынырнул... Скоро вы поныряете!.. Хватит на шее сидеть...

– Это кто ж, я на твоей шее сажу?! Да я тридцать лет в литейном отпахал. Во! – человек вскинул потрескавшиеся от мозолей руки. – А ты, спекулянт, картошкой торгуешь...

– Кабы я не торговал, ты б уже с голоду подох в своём коммунизме.

– В литейном вас нет, а тут повыныривали...

– Ты, товарищ, своими мозолями не медаль, нам тоже есть чего показать, – заговорил ещё кто-то. – А то, что вы, коммуняки засели кругом и тормозите – все видят.

– Ага, мы вот засели и тормозим... Вот засел я с этими мозолями...

– Стрелять, стрелять надо!.. – выпучив пустые глаза, хрипит Шалый.

Крестится в углу перепуганная старушка.

– Кого стрелять будем? – весело окликают моего растерзанного соседа.

- Всех стрелять!.. Всех!.. – мотает тот головой.
- Кабы не коммунисты, – вы б давно уже Россию продали за кусок колбасы, – не унимается ветеран. – Это ваших демократов душисть пора... Великую державу развалили... – Она и без вас великой была. Вы сами с нею чего сделали?.. Ишь, колбасой попрекает, а сами, небось, нахапали... – Это я нахапал?! Да я тебе щас в рожу заеду... – Заедь-заедь – вам не привыкать, вы нам семьдесят лет рожу чистили. Сколько миллионов сгубили?.. – Сгубили... А сам где был?.. – Сам... Очереди своей дожидался... А теперя на, понюхай, чтоб я в эту очередь снова стал – вас туда сунем... Светлым будущим манили, коммунизмом. Да он давно уже для вашего брата – коммунизм. Во ряха какая!.. – Продали Россию, ещё и задираются!.. – кричит какой-то рыжий мужик. – И этот дурак туда же влипает... – ворчит его баба. – Сами пропили Россию, а теперь ищут, кого б свиноватить. – Молчи! – зарычал тот. – Лучше молчи!.. Умудрённая жизненным опытом, баба не стала перечить. Благоразумие взяло верх, и она послушно умолкла. А рыжий мужик, вдруг озарённый своей догадкой, встрепенулся, даже лязгнул зубами. – Это ты! Это всё ты!.. – выпучив глаза на свою бабу, заорал он. – Тю на тебя, Иван. Что ты такое приплёл?.. – испуганно зачастила та. – Это всё твой меченый чёрт!.. С него всё пошло! – Чаво ты такое придумал?.. Чавой-то он мой? – Ты его нахваливала... Ты! «Ах, какой умница-разумница». – Хвалила... Так умно ж говорил... – не отрекается баба. – Кто ж знал, что оно таким боком пойдёт... – Так вот теперь и расхлёбывай! – Сам не доглядел, а на других пеняешь, – смеётся вагон. – Чаво это не доглядел? – недоумевают рыжий. – «Чаво-чаво». Не доглядел, как жена Россию Чабайсам продавала. Чёрта беспалого выбирала, а тебе и байдюжи было, спал в камышах. – А ты не выбирал?! – Так обдурили ж... Теперь на марсабесах ездют, а мы тут чубы дерём. Разве ж в нашем поезде их искать?.. – Зато эти подгавкивают... Поджидки... Какой-то интеллигентного вида очкарик запальчиво рассказывал о вселенском еврейском заговоре и о доктрине Даллеса. Толпа слушала его урывками и избранно реагировала лишь на самые понятные ей тезисы. – Стреля-я-ять!.. – Шалый зачем-то смотрит на меня в упор тяжёлым остановившимся взглядом, и холодок бежит по моей спине – столь реальны кажутся его намерения. – Вы, коммунаки, отца моего сгноили... – А вы жидам продались. – Это Ельцину что ли? – И Ельцину, с его Чабайсами да Абормовичами... Откуда они взялись на нашу голову?.. – И ведь только подумать – какое живучее племя! – подхватывает кто-то. – Сперва одну революцию сочинили – коммунизмом крестили, а как не сладилось – они первые в демократах, и опять теми ж граблями крестят нас. А вы, дураки, лупцуйте друг друга!..

Эх, пей, Кузьма, да Ваньку бей, Кузьма,

Да не робей, Кузьма, пинжак снимай!.. —

веселит народ своими песнями Ваня Шлак.

А вагон всё кипит, не унимается.

– Коммуняки у нас отняли всё, деда моего с куреня на мороз выгнали, а Чабайс ваучер дал...

– Вас жида за тридцать сребреников покупают, потом Америке всех гамузом сдадут...

– Ну что ты такое мелешь, нужны мы той Америке своим гамузом...

– Погодь, ещё отрыгнётся вам той ваучер. Отрыгнётся...

– А он теперь на той ваучер домик в Париже купит, – хохочет народ.

– Погоди куплять – жопу подтереть нечем будет...

– Стрелять!.. Всех стрелять!.. – сжимает кулаки Шалый, и снова крестится старуха в дальнем углу.

– А ты резолюцию 28-го партсъезда читал?.. – по-прежнему пытается что-то доказать своему невидимому оппоненту багровый, как боевое знамя, ветеран.

– Матерь-родная – какие люди с нами здесь ездют!.. Резолюции помнят и чтут!.. – гогочут вокруг.

Шумит, задыхается в мате поезд, идёт по вагону весёлый дурак Ваня, улыбается своим пустым ртом.

От революции до резолюции
Наш паровоз лети вперёд!.. —

хрипит дырявая гармошка в его руках.

– Давай, братва!.. – трясёт он своим седым свалевшимся чубом. – В рыло друг друга, в рыло... – веселей дорога! Бей своих, чтоб чужие боялись!..

– Ваня, сядь, посиди, родимый, не мыкайся, – берёт дурака за руку старуха. – Дыхни чуть, пока не упал. Небось, нынче и крошки во рту не держал?

– Спаси Господи, – отвечает Ваня. – Не голоден...

– Ты хоть скажи: что с нами случилось? – спрашивает старуха.

– Я тебе, бабушка, притчу вспомню, – говорит Ваня. – В аду старый бес поучает молодого: «Вот три котла с грешниками. С первого глаз не своди – того и гляди разбегутся. На второй одним глазом поглядывай, там, если кто и выскочит за бутылкой, тут же назад заскочит, а за третьим котлом можешь совсем не смотреть, в нем, если кому и вздумается выпрыгнуть – его свои ж за ноги и втянут обратно». Мы, бабушка, сейчас в третьем котле кипим...

А поезд шумит, хрипит, вопит... Спорят люди, рвут на себе последние рубахи...

Я не стал вмешиваться в их спор. Кто из них прав, кто виноват, я не знал, да и поныне не знаю. Ваня Шлак наверняка знал. Но нет уж того ревущего поезда, разобраны рельсы, пропиты шпалы, разрушены последние полустанки. Вместе с ними сгинул и Ваня – некому теперь рассудить.

Чиканы

Хутор, в котором я родился и провёл своё детство, стоял глубоко в степи, обочь больших дорог. Когда-то в нём проживало более тысячи душ народа. «На воскресных службах в церкви негде было стоять», – рассказывала бабушка. Потом расказачиванье, раскулачиванье... Храм приспособили под свинарник, и Господь навсегда забыл об этом месте.

Сейчас хутор уже исчез. Осталась от него лишь гряда кредяных бугорков, петляющая вдоль Терновой балки, заросшее бурьяном кладбище, да ещё присказка, живущая в моём сердце:

Куркин – славный хуторок,
Чёрт по балке разволок.

...Присказка и картинки моего детства...

Каждый краёк в хуторе имел свое прозвище: Кобели, Матрёновка, Бугаевка... Наш куток звали Чиканами. Это прозвище прилипло к нам из-за двух старух Чиканих, проживающих по соседству с нами, в крохотном флигельке, подаренном им колхозом.

Мы жили в большом, но уже покосившемся от времени курене. В семье нас было трое: я, моя мать и бабушка Дуня. Отца я не помню, он утонул пьяным в колхозном ставке, когда я был ещё слишком мал, чтобы помнить.

Напротив нас – усадьба деда Орла. Орёл жил один. Ещё в коллективизацию его со всею семьёй ссылали в Сибирь. Там от болезней погибли жена и все пять его дочерей. С Орлом я крепко дружил. Когда-то он научил меня вязать к леске крючки и в зиму ставить на зайца петли. Бывало, пристраивает петлю на тропе и приговаривает:

– Гляди, покуда живой... Вот так! Понял... чем дед бабку донял?

– Понял...

– То-то ж...

Правда, нрава Орёл был крутого, и, если что было не по нём, он меня лихо налаживал, и я, обиженный, уходил. Но уже на следующий день он весело шурился из-за своего плетня:

– Санько, табаку хочешь?

– Не хочу...

– Что так?

– Баба лупить будет...

– Вот беда с твоей бабкой... Кабы не она – щас бы и закрутили... Ладно, будя тебе сопеть, пошли зайца снимать.

И я, забыв про обиды, тут же бежал к нему.

Справа от нас в обшарпанной, намазаной хатёнке жили сёстры Чиканихи. Старшая Шурка и младшая Лидка. Обеим уж под восемьдесят. Бабушка Дуня рассказывала, что до революции были Чикановы из беднейшей семьи. Отец – пропойца, мать – потаскуха, ни кола ни двора... Росли девки полуголые, злые, часто дрались между собой в кровь. Над ними смеялся весь хутор. Потом – революция. Глядь – они в комитете бедноты первые активистки. Постриглись, красные косынки повязали, преобразились: смотрят сурово, с вызовом. В то время их вся округа боялась – не до смеху стало. Кто когда плохо глянул, не то слово сказал – всё вспомнилось. Они решали, кого выселять, кого миловать. Сами, с шайкой уполномоченных, и кулачили, сами чужое добро делили.

Шло время. Минула пора рушить, нужно было что-то строить, а на это у сестёр тям не было, – породочка, она верх при любой власти берёт, и скоро те, кто был поразбитней и хватче, оттёрли их на третий план. Но и по сей день, вспоминая их былые заслуги, Чиканих на всех

собраниях неизменно сажали в президиум. Там, от гордости и чувства своей значимости, они преображались и походили на античные скульптуры.

Замужем Чиканихи никогда не были, детей не имели, жили одни, в нищете и грязи. По-прежнему не ладили между собой и бились чуть ли ни насмерть. Верх брала Шурка, но с годами она стала сдавать, и одно время её здорово колотила Лидка. Потом Лидка занемогла, и Шурка вновь брала верх.

Ни одного дерева в Чикановом дворе не было. Когда-то под их окном рос куст дикой смородины, но и его Шурка вырубил.

– Зачем же ты смородину погубила? – говорила ей бабушка Дуня. – Хоть ягоду б когда съела, а так...

– Там, что ни ночь – сидит кто-то, караулит... – голос у Шурки дребезжащий, тягучий.

– Да на что вы сдались кому?

– Сдались... Кажен вечер гляжу – сидит...

Одно время подрабатывали Чиканихи тем, что пасли хозяйское стадо. Харчи им собирали отдельно, платили порознь, но и без того сёстры находили повод, чтобы изодрать друг друга в кровь. Что они не могли поделить – одному Богу известно, только дня не пройдёт – обязательно передерутся, поделят стадо – и в разные стороны. Видят хуторяне: стадо идёт, выскакивают встречать, а это лишь половина стада – Шурка пригнала, другую половину ещё часа два выглядывают, пока Лидка пригонит.

Но со временем силы их угасали, и приработок этот отпал.

Огород сёстры не сажали, ни кур, ни другой какой живности не держали, – жили на скудную пенсию да на то, что из жалости кто-либо подаст. Давали всегда врозь: отдельно для Шурки и для Лидки отдельно. Не дай бог, не деля дашь – обязательно передерутся, при этом верх возьмет Шурка и всё присвоит себе.

Бывало, Шурка пробежит по хутору, разживётся чем-либо и тащит два добрых выюка. Унести одновременно их не может, оставит один, а другой несёт настолько, чтоб первый с глаз не пропал, потом этот ставит, – за первым вертается. Так по очереди и перетаскивает.

– Что, ведьма, не сдохла ещё, побираешься? – окликал её Орёл.

– Ты вперёд подохнешь... – хрипела в ответ Шурка.

– Дуй, дуй... Вон другой оклунок упёрли уже...

Чиканиха не отзывается, но на всякий случай всё же оглядывается на своё добришко.

– Орёл, ну что ты к ним цепляешься всё? – ругала его бабушка Дуня. – Сколько лет прошло, чего вспоминать... Их уж наказало обеих – убогие...

Мне часто доводилось ходить к Чиканихам. Печёт мать пышки, – кликнет меня.

– Отнеси, Сашка, а то подохнут с голоду.

Несу каждой в отдельной посуде. Стучать – не достучишься. Не скоро за дверью проскрипит Шуркин голос:

– Кто-о?

Представляюсь.

– Чего тебе?

– Мамка пышки прислала...

Долго гремят засовы, потом приоткроется дверь.

– Эта голубенькая чашка – тебе, а с цветочками – Лидке... – распределяю я, как учила мать.

Чашки исчезают за дверью, снова гремят засовы, и затем, вместо благодарности:

– Иди... Плошки послая занесу...

В этой их закрытости была какая-то тайна, разжигавшая моё любопытство, и я через щелочку в занавеске тихонько подглядывал в их хату. Ничего особенного – грязный, наверное, годами неметённый пол, в центре осевший на подгнившую ножку, заваленный немойтой посу-

дой, картофельными очистками и крохтями стол, табурет, лавка, у небелёной печки сундук, на котором спит Шурка, да заваленная лохмотьями кровать Лидки в дальнем углу. Там, где обычно висят по домам иконы, почерневший от копоти и паутины весёлый портрет Ильича.

– Это главный их чёрт, – объяснял мне Орёл, когда я делился с ним своими наблюдениями. – У них такой порядок заведён: прежде, как на беду ходить – ему молятся.

Измученный таким разговором, я тут же принёсся домой.

– А Орёл говорит, что Ленин вовсе не Ленин – чёрт, – задыхаясь, выпалил я бабушке Дуне.

– Что ты, что ты... – испуганно озиралась та. – Забудь, что он тебе приплетал. Он, Орёл, с ума выжил, вот и мелет что попада. Забудь про такое...

И потом уж сама себе:

– Лечили его, лечили – не пособилось – всё тот...

Зимой в домике Чиканих был лютый холод. Бабушка Дуня уверяла, что у них холодней, чем на улице. «Топют одним бурьянком, а дрова незнамо зачем берегут, – говорила она. – Их, дров тех, уж столько скопилось, что половина погнила, а они всё – бурьянком...»

В большие холода Лидка приходила к нам греться. Тихо, чуть ни в шёпот, жаловалась на Шурку:

– Кричит на меня, ногами топчет: «Ты мне не родная, – маменька тебя нагуляла...» А я гляну, гляну карточки – точная папенька. Ну прямь точная, токо што усов нет. И чего она брешет такое?

– Ты не слухай её – мало ли чего она несёт. Знай себе своё и не спорь, а то ишо она тебя лупить станет, – научала Лидку бабушка Дуня.

Следом за Чиканихами жили Васюки: пьяница дядька Сашка и его рыжая тощая жена Мотюня. Это уже край хутора. Видимо, помятуя, кто в их дворе главный, дядьку Сашку звали в хуторе: «Сашка Матюнин».

Слева от нас светлый, весь в цветах, дворик бабы Аксюты. В чисто вымытых окнах – белые занавески; наличники выкрашены в голубенький цвет, оттого всегда выбеленный её домишко походил на новую игрушку.

Аксюта – ровесница бабы Дуни, и они дружат. Когда-то Аксюта была монашкой, жила в девичьем монастыре в Старочеркасской станице, но потом монастырь, как «рассадник мракобесия», разорили. Она вернулась домой, но образа жизни не изменила – так и осталась монашкой, даже одежда её была на манер монашеской: чёрное до пят платье, чёрная, прикрывающая лоб, косынка.

За Аксютой, если выглянуть из нашего проулка, можно было видеть лишь дом деда Проявы, – остальные терялись за поворотом.

Частенько Орёл посылал меня:

– Санько, ну-ка, выбеги, глянь: чи не идёт у Проявы дым из трубы?

– А чего ж ему идти – лето.

– Глянь...

Гляну – и правда дым. Значит, Орлу к Прояве пора.

– Баба, отчего Проява печь в лето топит? – спрашивал я бабушку Дуню.

– С чего ты придумал, кто ж её в эту пору топить станет?.. И без того дышать нечем.

– Топит – дым вон валит.

– А-а, дым... Это у Проявы часто такое. Соберутся у него Устиновы да Минаи, Черенок прихрамает, Орёл... полчане все. В карты бьются, побаски рассказывают да курят в печку – вот он и дым, – говорит бабушка Дуня и тут же удивляется сама себе: – Это ж скоко нужно скурить, чтоб дыму-то стоко?..

Вслед за Орлом тайком пробираюсь к Прояве. В дом не вхожу; затаюсь на открытой веранде, которую по старинке Орёл называет рундуком. Слушаю.

– ... Мне те часы сам Великий Князь Михаил преподнёс на смотре... И случилась с ими беда – грекнул я их где-то в походе, и стали они трошки вперёд забегать... – угадываю я голос Проявы. – Прибыли мы в Варшаву – рекомендуют мне одного часовщика, мол, золотой мастер – любой ход подладит... Ну раз такое дело – к нему. А тот варшавский жид оказался такая шельма... Возьми да и обдури меня. Золотую оправу снял, да взамен ей из красного пятака и сварганил схожую. Я ж подмену углядел – давай уличать его в злодействе. «Что ж ты, иудина душа, казака обираешь? Вертай прежнюю одежду на место!» А тот хитренько себе улыбается и вроде недопонимает, о чём речь. Ну как никакая беседа с ним не ладится, решил я выручать свой урон. Сгрёб в чувал его будильники, все, что под руку попались, взвалил на коня, еду тихонько к своим, с досады аж зубами лязгаю... А энтот негодяй, замест того, чтоб усрамиться своей подлости, в полицию полетел... Вот слышу – цокотят следом. Я, конечно, мог постегать их на месте, но не стал, какая ни есть – власть. Но и сдаваться нельзя. Где это видано, чтоб казак ляхам отдавался?! Стал уходить. А будильники грекоют... Достаяю один. Как дам перед ними!.. Тот как заделенчит, пружины во все стороны выпучились – кони на дыбки... Дальше ухожу. Только меня достают, я следующий им под ноги... И так, пока до своих добрался – всё выкидал. Один вот только и остался, и до се тикает...

– Орёл, расскажи, как ты мадмазелей воспитывал, – просит Трифан.

– А-а-а... – морщась, машет рукой Орёл – но скоро сдаётся. – Был такой случай... – задумчиво покряхтывая, признаётся он. – Дело в Питере было, прямо в канун заварушки...

Я уже знаю, что «заварушка» по Орлу, это Великая Октябрьская...

– Вбегает наш есаул, – продолжает Орёл. – Лица на нём нет, перепуганный до смерти. «Тут, говорит, братцы такое дело – бабы голые порт осадили. Люди в смущении по пароходам сидят, выйти наружу стыдятся. Надо какся деликатно спровадить гражданочек тех, чтоб народ не конфузился...» – «А чего им надобно, мадмазелям тем?» – спрашиваем его. – «Да может статья так, что и не мадмазели они вовсе... – отвечает загадками есаул. – Лязби какие-сь...» – «Это как?» – «Это, братцы, они с мужиками жить не хотят». – «Так зачем же тогда заголяться? Вон, Аксюта наша тожесть не дюже мужиков хочет, так её и силком не разденешь...» – «Вот и пойми их...» Ладно, выехали на место. Стоят барышни на причале, всё своё добро напоказ выставили, красным плакатиком машут. Даёшь, мол, в свободной России свободную от пред-рассудков любовь. Есаул и шепчет мне: «Ты, Орёл, самый обходительный среди нас, к тому ж кавалер трёх Георгиев – не сдрейфишь. Побеседуй как-либо с ими, пусть чешут отсель». Подъезжаю я к им, и как можно ласковей и деликатней завожу разговор. Тут, мол, не баня, барышни, обувайтесь и топайте куда-нибудь, не смущайте моего жеребца. Нет, не уходят. Я тогда по-другому. Решил присрамить их. Сегодня, говорю, день такой... Успение Пресвятой Богородицы. В церквах колокола бьют, а вы с такими делами... Тут одна – самая жопастая, как подскочит ко мне и говорит...

Озираясь, Орёл переходит на шёпот, и я уж не слышу, что ему сказала «жопастая».

– Да ну, так прямо и сказала?! – сокрушается Проява.

– Так и сказала... – кивает Орёл, и крестится на Святой угол, что в обыденной жизни случилось с ним не так часто.

– Ну и?.. – торопит Проява.

– Рассердился, да на том и прекратил их митинг...

– Что ж ты им такого сказал?

– А чего им расскажешь... Потянул одну да другую плетюганом, так с их дерьмо и пошло рулём...

– Обосрались, что ль?!

– А ты как думал! – с уважением взглянув на Орлову руку, отвечал за него Трифан.

Аксюта часто гостила у нас, иногда из жалости ходила кормить Чиканих.

– Куда правишься, Ксюта? – окликал ее дед Орёл.

– Да вот девок проведу, молочка отнесу... – отвечает та, словно оправдывается.

– Им с под бешеной коровки молочка надо...

– Шура совсем плохая, наведуясь... – голос Аксюты робок и тих.

– Нездоровится ведьме?.. Ступа, видать, ночью не заводилась... – ворчит Орёл, но Аксюта уже прошла, и разговор обрывается.

Доглядывал Аксюту её племянник Паша, незаметный, тихий, как девочка, парень. Паше уже под сорок, а он всё ещё не женат. Когда мне было лет пять, рыбалить меня отпускали только с условием, если со мной пойдёт Орёл или Паша. У Орла вечно случались неотложные дела, а Паша был добрым и мягким, какие б дела его ни держали, стоило мне поканючить над ним – уступал.

Однажды, едва мы закинули удочки, я выдернул килограммового линя и тут же scomандовал:

– Пашка – домой!

Паша, на ходу сматывая удочки, едва поспевал за мной, а я, заходя в каждый двор, обошёл весь наш краёк, даже к Прояве умудрился завернуть, хоть и было не по пути.

– Глядите, что я поймал!.. Во-о!!! А Пашка – ничего!.. – докладывал я.

Все «ахали», восхваляли меня, Мотюня даже обещалась сообщить в газету, и только один Орёл умудрялся обидеть. Едва я открыл рот, чтоб поделиться своим успехом – тот уж щурится:

– У Пашки отнял?

Я настолько оскорбился, что даже не стал оправдываться пред ним, молча хлопнул калиткой, ушёл к себе.

Орла так и не согнули годы – ходил прямой. «Как штык», – говорили в хуторе. На худом лице его большие, выбеленные сединой усы, левый глаз постоянно прищурен – результат давнишней контузии, и оттого кажется, что он всё время усмехается, даже когда не в себе, – похоже – весел.

– Орёл, ты дюже старый? – спрашивал я.

– Хо. Не новый, – отвечал Орёл.

– А чего ж ты не гнёшься тогда? Баба Дуня тожесть не дюже новая – вон как скрючилась...

– Я, Санько, николаевскую палку проглотил в своё время, – отвечал старик.

Ошалевшими глазами смотрю на Орла: как он мог проглотить эту «николаевскую палку» и где она там у него размещается?

Несмотря на свои годы, Орёл всё ещё трудился в колхозе. В осень и зиму, когда утихали полевые работы, вязал мётлы, плёл корзины; летом работал водовозом. Работа сезонная, нетрудная, но поспевать надо. Ещё затемно запрягал он старого, как сам колхоз, мерина Потапа и ехал с бочкой на водокачку, оттуда развозил воду по степным бригадам.

– Орёл, бери Сашку с собой, – просила бабушка Дуня. – А то ему заняться нечем – чертуется с угла в угол, путается в ногах. Там хоть дорогой займёшь его.

Должно быть, Орлу бывало скучно в пути, потому, если меня удавалось поднять – брал с удовольствием.

– Что, Санька, едем трудодни зарабатывать? – шурился он.

– Едем, – сонно кивал я.

Но скоро свежий воздух прогонял дремоту, и я донимал Орла бесконечными вопросами.

– Орёл, а зачем ты один живешь? – спрашивал я.

– Чего ж один, а Потап?..

– Потап – лошадь, с ним не поразговариваешь.

– Хо, – ещё и как поразговариваешь. Он все слова понимает.

Иной раз такое мне понарасказывает...

– Ну пусть расскажет. Пусть!..

– Он на людях стыдится. Как одни – его не переслухаешь.

– Бреешь ты всё, Орёл, – заподозрив обман, обижаюсь я.
– Хо, не веришь? Дело твоё... Таких, как Потап, не сыскать. Я им даже не правлю, куда надо – туда и идёт...

Смотрю на Орла – правда не правит; Потап сам, где надо, поворачивает, где надо, останавливается.

– Зачем ты тогда здесь? Потап и без тебя управляется.

– Хо, то верно, я ни к чему – так, абы ему веселей было.

– А Потап твой?

– Чей же ещё? Мой.

– А ты его купил? – текут бесконечные вопросы.

– Ну а то не лупил... Лупил. Думаешь, отчего он умный такой... – весело щурится Орёл.

– Купил?! – кричу я.

– Говорю же – лупил, как его не лупить. Его если не лупить – сам на тебе ездить станет – до того умный... – продолжает насмехаться старик и тут же переключается на Потапа:

– Ну, халява, шибче пошёл, а то до ночи с тобой, умником, не управимся...

Некоторое время едем молча. Обидевшись, я смотрю, как попыхивает пылью убегающая под колёсами земля, как ложатся под ветер ковыли на краю балки, как, вереща, кружат в вышине кобчики, как падают в блестящие на солнце колосья ячменя жаворонки и как качаются на высоких соцветиях душицы шмели.

«Правду бабушка говорит: “язва – Орёл”», – думаю я.

Но скоро я начинаю скучать и забываю обиду.

– Орёл, отчего б тебе Аксюту не засватать? – опять докучаю старику.

– Хо, может Шурку Чиканову? – встрепенувшись, щурится тот. – Шурка мне ближе подходит по характеру.

– Шурка непутёвая, ты её не любишь – Аксюту сватай.

– Хо, Аксюту... Мне её и через усадьбу хватает... Я какся ей говорю: «Ты Ксюта, в Бога веруешь, я тожеть верую, и крестюсь, и молитвы по ночам шепчу, а всё не в прок». – «А какой прок тебе нужен?» – «Никакой благодати – одни страдания да печаль». – «Благодать на Небесах ждёт, а здесь терпи, страдай и молись – всё тебе там зачтётся». Во, какое завернула, а ты говоришь: сватай её. Этак с ней до самых «небес» благодати не дождёшься. Я ей тогда и сказал: «Я, Ксюта, здесь стоко перетерпел – пятерым мученикам хватит, но если ещё и там мне страдать доведётся – отыщу, и такое тебе задам за напрасное терпенье...»

– Не отыщешь, – говорю я Орлу. – Вы там по разным местам будете. Аксюта святая – она в рай попадёт.

– Да-а... то так... С Чиканами дорога мне... – соглашается тот.

– Орёл, а зачем ты на Чиканих такой злой? – меняется наш разговор.

– Они ж ведьмы! Ты разве не знал? – без всякого прищуря отвечает тот.

– Это как?... – изумлённо шепчу я.

– Ночами на мётлах летают, – просто объясняет Орёл.

– У них же всего одна метёлка, я видел, и та разломатая.

– По очереди гоняют – метёлку и затрепали... Думаешь, чего они меж собой бьются – метёлку не поделят.

– Ты б новую им связал.

– Хо, новую... И так спасу нет, – пусть старую добивают.

Такие разговоры у нас случались чуть ли не каждый день. Если какой-то из моих дурацких вопросов был Орлу не по душе, он мог его и не расслышать, а то и вовсе сменить разговор; нахмурится да как рыкнет:

– Ну, что ты судомишься?... Шило там у тебя в жопе? Не ёрзай! Разве ж мать настачится на тебя одёжки – штаны до дыр проелозил...

Я обижался и на какое-то время умолкал.

К вечеру у Васюков собирался весь краёк: сходились встречать коров. У Мотюниного двора большая куча брёвен. Когда-то их привёз Сашка, затевал колоть на пластины, чтоб потом ставить сажок для свиней, но до этого дело так и не дошло. Лежат брёвна который уж год – мхом поросли. На них и собирается наш народ. Рассядутся поудобней – последние новости сочиняют. Наилучший мастер этого жанра – сама Мотюня. Она знала не только то, что уже случилось, но и всё, что непременно должно произойти.

– Ой, бабоньки, что вам сейчас расскажу!.. – начинала она каждый свой выход.

Сашка Матюнин являлся поздно, когда основные новости были уже свёрстаны и обсуждены. По обыкновению он был навеселе, а иной раз Орлу приходилось запрягать Потапа, чтобы доставить Сашку домой. Только появится на бугре – все уж гадают: дойдёт – не дойдёт.

– Что-то шибко его кидает, может, идти запрягать? – говорил Орёл.

– Погодь, глянем, как дальше поsunется, может, ещё и дотянет... – оживала публика.

А сама Мотюня, зажмурившись, запевала:

Вот кто-то с горочки спустился,
То верно Сашка мой идёт.
На нём рубаха с петухами
Одега задом наперёд.

Сашка тяжело ухался на брёвна, переводил дух.

– Вот так, грохнется, как полено, и ни один чёрт его не берёт, – жалуется Мотюня. – Какой хороший человек уже б убился давно, а этому – хочь бы што. – Сашка в долгу не оставался, пытаясь неуклюжими руками обнять Мотюню, запевал:

Приди ко мне, хорошая, приди ко мне, любезная,
На весь куток известная, как хлорофос, полезная.

– Шёл бы ты, «полезный», ночевать, – говорит Мотюня и тут же продолжает, как уже о ком-то постороннем: – Он за что ни возьмётся – нет толку, не хозяин – прорва, а руки из жопы растут.

– Как это нет толку? – шевелится на брёвнах Сашка. – Двух сынов, дочку какую сделал, и нет толку?..

– Да ты разве участник там, я, может, без тебя их поделала, тебя и близко при этом деле не было.

– Это ж какое ангельское терпение нужно иметь, чтоб сносить эту чёрту?.. – сам себе удивляется Сашка. – Вот вырвусь на недельку-другую к какой-нибудь вдовушке, хочь чуть отдохну от тебя...

– Куда-куда вырвешься? – всплескивала руками Мотюня. – Хоть при людях не грозись, а то я скажу, какой из тебя выривальщик до вдовушек...

– Та я чего и говорю: отдохнуть...

Аксюта на брёвнышки не приходила. Вместо неё встречал коров Паша. В разговорах он никогда не участвовал, от кем-то оброненного крепкого слова краснел и держался всегда в стороне. Мотюня задалась целью женить его, подыскивала в других хуторах «подходящих» девчат. Паша послушно ездил на смотрины, но там как-то всё не склеивалось: то девчата его не хотели, то сам он бежал от них. Наконец, нашла ему Мотюня в соседнем районе разведёнку с двумя детьми. «Славная бабочка, из себя справная, самостоятельная – не абы что, а хозяйка – так золотая», – нахваливала она. Поехал Паша, познакомился, да на диво всем, сразу же и засватал. Теперь весь наш краёк ждал свадьбы.

– Когда ж перевозить будешь? – торопили Пашу.
– Ныне нельзя, – отвечал Паша. – Петров пост. Вот на Петры и Павлы разговеемся – тогда...

– Пока годить будешь, она себе нового кавалера сыщет, – шурился Орёл.

– Не сыщет, – отвечала за Пашу Мотюня. – Там уже сладили всё.

– Ну а ты, Павло, хочь примерял-то? – вновь шурился Орёл.

– Как это?.. – терялся Паша.

– Вот те раз, жаниться надумал, а как примерять – не знаешь. А может, она неподходящая тебе.

– До свадьбы нельзя о таком и думать, – отвечала опять Мотюня.

– Ну, это что кота в мешке брать.

– Глупости... – робко возражал Паша.

– Глупость – на авось уповать, – не унимался Орёл. – Тапочки хреновые покупаешь, какие месяц носить, и то примеряешь, чтоб не тёрли, не давили или не болтались... а тут такое дело: на всю жизнь – и без примерки...

Паша краснел и молча уходил с брёвнышек.

– Орёл, ну что ты встречаешь?! – ругала его Мотюня. – У парня только слаживаться стало, а ты с этим...

– Да без «этого» разве ж сладится?.. – отвечал Орёл.

Умерли Чиканихи зимой, в тот год, когда я пошёл в школу. Первой заподозрила неладное Аксюта. Она приносила сёстрам есть, но так и не смогла достучаться. Выломали дверь и нашли их окоченевшими в холодной комнате. Хуторские старухи пошли хлопотать над телами покойниц и, когда открыли сундук, чтобы найти чистую одежду, ахнули. Сундук чуть ни доверху был наполнен всяческой драгоценной утварью: серебряные кресты, ложки, чашки, подсвечники, золотые кольца, серьги, цепочки... лежали в нём вперемешку. Чистой одежды так и не нашли, пришлось принести свою.

Решено было послать в сельсовет Пашу, чтобы он заявил о случившемся властям. Против этого был один Сашка Матюнин:

– Мы их всем кутком кормили – давно уж этот сундук отработали, – говорил он. – Не надо никуда заявлять. Его если в дело пустить – до конца дней поминать можно. Отпоём как-либо и без властей...

– Господь с тобой, Сашка, – испуганно шептала Аксюта. – От этого и так сколько горя... Бедные-несчастные девоньки, это ж надо так наказать себя... Не приведи, Господь, никому... Всё тлен и прах, тлен и прах... – причитала она.

Прослышав о случившемся, потянулся к Чикановой хатке весь хутор. Один Орёл не пришёл. Шуря свой левый глаз, он весело окликал проходящих:

– Ну что, не прикопали ещё?

– Куда торопиться – дня не прошло, – отвечали ему.

– Во как, а смердят, что неделешные.

– Что ты, Орёл, грех так злобиться на покойных, – укоряла его бабушка Дуня. – Сам скоро там будешь...

– А я и не собираюсь здесь засиживаться, – мне туда поспешать надо, – отвечал Орёл.

– Это ж что за срочность такая?

– Хо. Погляжу, как сучек этих черти на сковородках разогревать будут.

Пока Паша ходил за властями, часть сундука всё-таки растащили. Даже бабушка Дуня тайком принесла серебряный именной портсигар, на котором красивым витиеватым почерком было выгравировано: «Казак 10-го полка Орлову Ивану Савельевичу, за боевые заслуги. Август 1916».

– Отнесём окаянному – его память, – сказала она.

Вечером мы отнесли портсигар Орлу.

– Хо! – весело сказал он. Подержал портсигар на вытянутой руке, словно прикидывая его вес, и вернул нам.

– В яму им киньте, пускай прочхаются там...

Пришлось бабушке Дуне портсигар отнести обратно.

На следующий день Сашка Матюнин большой деревянной лопатой разгреб на кладбище снег и разметил место на одну широкую яму.

– Им надо б врозь копать, – робко заметила Аксюта.

– Ничего, поладят как-либо, чай не чужие... – не скоро ответил Сашка, которому лень было копать две отдельные ямы.

А на девятый день после Чиканих неожиданно помер Орёл. Когда мы вошли к нему, он, со скрещёнными на груди руками, неподвижно лежал на деревянной кровати. Рот его был приоткрыт, а левый глаз, по обыкновению, прищурен, и от этого мне казалось, что в губах его по-прежнему шевелится знакомая всем усмешка.

В правом углу, в золотистом свете лампадки, необычно, словно в пасхальный вечер, сияли украшенные бессмертниками иконы. Мне даже почудилось, что архистратиг Михаил улыбнулся мне.

– Надо ж, как негаданно помер, – говорили одни.

– Год високосный на исходе – вот на стариков и мор, – шептались другие.

И один только я знал: помер Орёл специально.

Когда Орла хоронили, я не утерпел и тихонько сказал матери:

– Вот теперь задаст он им... Кто ему там помешает...

Мать больно стиснула мою руку, но ничего не сказала.

Вот и всё, что осталось в памяти от моего детства, – эти картинки да присказка, придуманная неведомо кем:

Куркин, славный хуторок,
Чёрт по балке разволок.

Умирала баба Стеша

На восемьдесят девятом году жизни бабу Стешу парализовало. Мать моя в слёзы, чуть свет за врачом подводу снарядила. Осмотрел врач старуху и сказал, что больница ей уж не поможет и что «осталось ей совсем ничего...».

Мать на почту – всем родичам телеграммы поразослала. Трёх дней не прошло – съехались. Приехали и дядя Гриша, и дядя Вова, и тётя Клава. Приехала вся родня наша. Тётя Клава привезла из города целую сумку конфет. Две дала мне, остальные прибрала «к поминкам». Дядя Вова привез бабе Стеше венок из бумажных цветов и блестящих жёлтых листочков, а меня прокатил на машине. Дядя Гриша ничего не привез бабе Стеше, зато мне подарил пистолет и две пачки пистонов. Одну я сразу выпалил, а вторую уже берёг.

Целую неделю гостила наша родня. За это время дядя Гриша поймал в речке двух больших щук, тётя Клава так загорела, что у неё облупился нос, а наш сосед дед Серёга успел поскандалить с дядей Володиёй из-за того, что тот мыл в ставке свою машину. А баба Стеша всё не умирала никак. И тогда засобирались наши родственники назад, в город.

Когда отъезжали, дядя Гриша сказал маме: «Если чего случится – звякнешь». Мама сказала: «Угу...» А я сказал дяде Грише, чтоб, когда умрёт бабушка и он вновь приедет, не забыл привезти пистонов. Дядя Гриша пообещал, а мамина рука так лихо прошлась по моему затылку, что я, выражая свою обиду, взвыл во весь голос, и дяде Вова пришлось взять меня на руки. Тётя Клава спросила маму, есть ли у бабушки «книжка» и на кого отписана. Мама сказала, «книжка» давно «разошлась». «Как Митька без отца остался, так и...» – виновато повела она плечами.

– Да я ничего... – сказала тётя Клава. – Я так просто спросила. Может, надо чего...

– Не надо, у нас всё есть.

Дядя Вова, поставив меня на землю, сказал: «Пора!..»

Машина уехала и я еще долго смотрел вслед удаляющемуся пыльному облачку. Потом и облачко исчезло, растворилось вдали, а я всё стоял на дороге, и было мне грустно.

Мама моя работала в то время на ферме, в летних лагерях, что в девяти километрах от хутора. Мне шёл тогда шестой год. Садика в хуторе не было, и я оставался в доме за хозяина. Раньше за мной присматривала баба Стеша, а теперь уже я смотрел за нею.

Мама уходила затемно и на весь день, приходила поздно, и её шатало от усталости. Я не знал, когда она спит, потому что, когда засыпал сам, мать убирала в доме, готовила на кухне, а ранним утром она будила меня и строго наказывала:

– ...Корову уже подоила – в стадо отгонишь, да встренуть не забудь вечером, а то будет по горбдам шастать... у меня уж ног нет за ней, проклятою, бегать... Мешанку свинье дашь...

– Когда давать-то? – деловито хмурился я.

– Как завизжит, так и дашь, она о себе нагадает... Воды из родника наноси, – продолжала она наставления. – Ведёрком тяжело будет, так ты чайником... Да не свались, смотри, осторожно... Чего прикажет бабушка – выполняй. Обед на столе оставила. Попросит – покорми...

Но бабушка ни о чём не просила, и я, изнемогая от скуки, теребил её руку.

– Ба... Баба, ну попроси есть – я кормить тебя буду...

А баба смотрит на иконы и молчит.

А ещё мама наказывала мне:

– Если баба Стеша умирать будет – лети по соседям...

Я сидел и всё ждал: когда это баба умирать будет. Нет, не умирает.

– Митрий, – слабо дребезжал её голос. – Там на полочке... за травами... конфеты...

Клава привезла. Возьми, посластись...

– Нельзя, – вздыхал я. – Это как ты помрёшь, тогда поминать будем.

– А ты щас поминай, щас. Это ничего, что живая. Поминай...

Я ел конфеты. Из маминого шкафа, где помимо посуды хранились ещё какие-то пахучие травы и слипшиеся пальчики свеч, доставал покрытый черным лаком пистолет, затаив дыхание нажимал на курок и мечтал о том времени, когда вновь приедет дядя Гриша и комната заполнится сладостной гарью стреляных пистонов.

А дни всё шли и шли. Старуха всё так же лежала на своей кровати, смотрела на иконы, лампадку поправлять заставляла, шептала молитвы или просто молчала часами. В комнате полумрак, смрад, но я уж обвыкся, только когда во двор выбегал – слеп от солнца и голова кружилась, земля ускользала из-под ног, и не хотелось больше идти в дом. Я на некоторое время задерживался на крыльце, тоскливо смотрел на пруд, откуда неслись счастливые визги моих сверстников, и, повинувшись какой-то неведомой силе, возвращался в комнату.

...И вновь полумрак, вновь постанывает, что-то шепчет на своей постели старуха, и глаза её, обращенные к иконам, плачут.

Я поправлял лампадку и рассматривал вблизи «Матерь Божию» и юного желтоволосого Христа на её руках. В хилой фигурке Христа, в округлых голубых глазах читалась печаль и кротость. Мне сразу вспомнился соседский мальчик, умерший весной от какой-то неизлечимой болезни. Мальчик был старше меня и, наверное, посильней. Как-то я отнял у него губную гармошку. У него был точно такой же взгляд...

А рядом, уже с другой иконы, на меня грозно смотрел какой-то древний святой. Суровый прямой взгляд его проникал в меня, и я терялся, робел и спешил поскорее спуститься на пол, спешил уйти, спрятаться от этого взгляда. Но где бы я ни был в комнате, едва поднимал глаза, тот же строгий взгляд находил меня. Повсюду: и у огня лампадки, и на стуле у постели бабы Стеша, и в другой комнате у окна, даже на улице по пути к роднику – я чувствовал на себе тяжесть этого взгляда. С каждым днем я томился больше и больше.

Однажды, дождавшись, когда уснёт баба Стеша, я поднялся к иконам и, щедро слюнявя карандаш, зарисовал глаза своему деспоту.

– Митрий!.. Что, это Митрий?! Господи милостливый... – проснувшись, испуганно зашептала старуха.

– А чего он на меня смотрит... – насупился я.

– Митрий, сотри!.. Щас же сотри, Митрий!.. Сотри-и!.. – Она даже попыталась приподняться. – Грех, Митрий!.. Грех...

– Он смотреть будет... – упрямылся я.

– Ну, погоди, явится мать, она тебе портки скинет... – обессилев, плакала баба Стеша. – Она тебе напорет ж... Напорет, бессовестный...

– И-и никогда в жизни не напорет... Она только грозитя напороть...

Нет, мать меня не порола. Мокрой тряпицей оттирая икону, она шептала сквозь всхлипы:

– Что же ты натворил, Митенька... За что мне горе такое... Что же натворил...

И баба Стеша, лова мое плечо своей костлявой рукой, вторила ей плачем...

– Кайся... кайся, бесстыжий...

Я молчал, время от времени лишь отдёргивая от старухи свою руку.

...Но потом, когда уходила мать на работу, когда забывалась в дрёме баба Стеша, я поднимал к иконам глаза и шептал:

– Богушка, милый, прости меня... Мне страшно, когда ты смотришь...

Прошло много месяцев. Закружил ветер пожухлые листья. Реже стало гостить в нашем доме солнце, и днями лишь царапался в окна дождь. А я всё так же сидел и томился у постели бабы Стеша.

– Ничего, Митенька, – говорила мне мама. – Скоро уж зима – работы у меня поулавится – будет тебе легче.

А мне что, я и так не умариваюсь – скучно вот только.

Каждый вечер мама меняла постель под бабушкой, и в это время та чувствовала себя особо неловко. Она хватала мамину руку и, отводя в сторону взгляд, шептала:

– Не серчай на меня, Полюшка, не серчай... что пришлось вот так...

И затем уж обращалась к иконам:

– Господи, за что мне мученья такие?.. Господи...

Часто в нашем доме бывала Аристарховна – старуха, жившая по соседству. Некоторое время она молча просиживала у постели бабы Стеши, поправляла на ней платок, одеяло и затем уж вздыхала:

– Жива?..

– Жива...

– ...Горюшко-горе...

– Может, Бог даст, помру?.. – с надеждой поднимала на подругу глаза баба Стеша.

Аристарховна не отвечала. Посидев ещё с минуту, уходила не попрощавшись, и из коридора, пока она искала калоши, слышался шёпот:

– Ох, горюшко-горе... И не даёт же Господь смерти... Не дай Бог мне так случится – кто за мной смотреть будет... Ох, Стешенька-Стеша, мученица сердешная...

А я ей вслед:

– Какая она сердешная. У ней сердце – во! – ни разу не жалилась.

Баба Махора была говорливей:

– Ну что, соперница, жива ещё? – окликала она.

– Жива-а, – отзывалась баба Стеша.

Баба Махора бывала у нас каждый день. Рассказывала последние хуторские новости, которые состояли в основном из небольшого перечня событий: кто женится, кто разводится, кто напился, кто подрался.

Баба Стеша оживала:

– Подрался Сашка?..

– Подрался. Бригадой уgomонить не могли.

– Ты гляди, какой забурунный...

– Забурунный.

Потом разговор переходил к проблемам бабы Стеши.

– Вот, не умру никак... – жаловалась она. – Там Федя уже заждался, а я всё...

– Чего тебе – умрёшь как-нибудь. Подождёт Федя. Ты ему там не к сроку. Лежи и помирай, хоть сколько хочешь. За тобой Поля смотрит. Вот мне как придётся? Не приведи Господи...

– Антон не едет?

– Я уже забыла, какой он есть, Антон этот, – как о ком-то чужом говорила Махора.

– А меня навещают. Я, как только собралась помереть, – все съехались.

– Вот, а ты журишься. Помрёшь как-нибудь. Схоронят как след.

– Махора, я как помру, меня хороните рядом с няней¹... Там кусточек... Его не троньте.

Пусть в головах. А по другой бок братка...

– Ты уж который раз говоришь мне. Похороним. Поля знает.

– Поля закрутится... Ей забот скоко. Закрутится, а эти пьяницы наши выкопают абы где, а потом перекапывать не схотят. Ты нагадай загодя...

– Нагадаю.

А дни тянулись и тянулись – нудные, однообразные. Баба всё так же не отрывала молящего взгляда от икон, всё так же заставляла меня поправлять лампадку и молила «Господа

¹ Няня (здесь) – старшая сестра.

Бога», чтоб «прибрал поскорей...». А я осторожно брал в свои руки пистолет, гладил его и всё так же мечтал о том дне, когда вновь приедет дядя Гриша...

- Баба, а умирать больно? – спрашивал я.
- Не больно...
- А отчего ж мамка тогда горюет?..
- И я ж ей про то... чего горевать – все там будем, в Царствии Небесном...
- А там хорошо, баба?
- Не знаю... Оттель никто не вертался.
- Баба, а нашто ты так Бога молишь?.. Ты что, жить не хочешь?
- Кабы ноги ходили... А так жить... Пожила...
- Баба, а ты много пожила?
- Много...
- А сколько?
- ...Я уж запомятовала... У мамки спроси...
- А я много жил?
- Да ты и не жил ещё...
- А мамка жила?
- Мамка жила... Тебя вот народила – значит, жила...
- А когда меня мамка народила?

Баба Стеша долго, сосредоточенно рассматривала потолок.

– В ту пору вишни цвели... – сказала она.

Если мать моя делила время на «до войны» и «после войны», то баба Стеша кроме этого делила ещё свой век на «до отступа» и «после отступа». Мне тягостно сидеть в одиночестве и тишине, поэтому я докучаю ей своими вопросами:

- Баба, а что такое «отступ»? – спрашиваю я.
- Исход... Все от мала до стара бросили дома и пошли...
- Куда пошли?
- Куда глаза глядят...
- Зачем?
- От беды...
- От какой беды?
- Жизни спасали, да с тем и порастеряли те жизни... – непонятно объясняет старуха. –

Муж мой Фёдор Тихонович ахвицер был... Он-то и ахвицер такой – одно название... Погоны свои заслужил на Германской... Три креста и погоны. А в ту пору за это смерть... Вот собрали мы на одну телегу всё, что нажили за свой век со своими отцами, сели на узлы, мамка моя да я с малым дитём. Коленьке, отцу твоему, два месяца от роду было, только окрестить успели... Двинулись всем хутором, – конца и края подводам нет. Федя с казаками где-то позаду. Там же и батька мой Устин Савельевич, и свёкр Тихон Фёдорович, даром, что в годах, да кто ж их удержит – надо кому-то оборонять... Красные как напёрли – началась стрельба...

- Красные?! – расширив глаза, изумлённо восклицаю я. – Так вы беляками были?!
- Беляками... – слабо улыбается баба Стеша.
- Беляки плохие. Я кино «Чапаев» смотрел...
- Баба Стеша молчит, не пытается переубедить.
- И кто победил?

– Батьку моего, твоего прадеда Устина, убили там... Стали их из пулемётов бить – кто помоложе, порезвее поныряли в землю, а батька пока повернулся, его и клюнула пулька. Тихон хотел вынести его, да там так били, так били – головы не поднять. Подполз он к своему свату, выдолбил под ним ямку, да и прикопал на месте. Говорил: «Возвертаться будем – заберём».

Не возвратились... Мамка моя голосила, а Тихон её утешал: «Не кричи. Легко Устин помер. Как пулька его ударила – даже не шелохнулся. Нам бы всем такую лёгкую смерть...»

Баба Стеша долго молчит, и отчего-то странная улыбка блуждает в её губах.

– А батька у меня добрый, хороший был, жалел меня, – вдруг оживают её глаза. – Он бывалоча кукол мне из глины налепит, высушит, а я их понаряжу и играю...

Задумавшись и, казалось, забыв обо мне, она на какое-то время уходила в свои светлые воспоминания, улыбалась, и счастливые слёзы катились по её впалым щекам.

– ...А как только за Дон вышли, – неожиданно возвращается она к своему рассказу, – мамка моя захворала и свёкр Тихон Фёдорович слёг – тиф у обоих. Мы мамку в доме одном оставили. Дали хозяйвам пшена и муки, упросили глядеть за ней. А Тихон норовистый был; сам еле дышит, а головой мотает, просит, чтоб не оставляли его. «Что ж вы меня в трату отдаёте?» – шептал, и слеза по щеке... Тихона дальше повезли. Всё звал сына Фёдор Тихоновича, да тот с отрядом далеко был, так и не попрощались... Куда ни глянь, степь да снега. Нашли приметный кустик боярышника, под ним и похоронили Тихон Фёдоровича. А сами надежду тешим: «Возвёрнёмся – домой заберём. Там, среди своих, вроде как веселей...» Пока до Новороссийска дошли, с наших хуторских половины не стало, позатерялись могилки в чужих степях. Стала я на квартиру к одним людям, давай искать своего Фёдор Тихоновича. Да где ж там найдёшь – столпотворение вавилонское... Только на пятый день он сам меня отыскал. Хуторские подсказали... Пошли с ним на пристань, а там: «Одних ахвицеров берём. Жёны и дети пусть следующего парохода ждут». А где ж там следующего ждать, когда красные уж под городом гремят. Федя и говорит: «Коль так – и я никуда не поеду». Стала я его отговаривать: «Уходи со всеми, – я как-либо сама с Коленькой...» А он... Жалел меня без памяти – остался... Пришли на квартиру. Первым делом Федя хозяев отблагодарил за то, что меня с дитём приютили. Надарил им посуды и целый сундук с барахлишком. Как они радовались!.. Сам сел и начал погоны отпарывать, чтоб никто не угадал, какого он чина. А как красные в город вошли, – наши хозяйва первым делом и доложили: «Тут у нас ахвицер погоны попрятал, а с ним и жена и ахвицирёнок его...» Собрали со всего города ахвицеров и всяких других людей, на кого указано было, погнали всех нас за город. «Куда вы нас правите?» – спрашиваю. – «Чертям на растопку!» – смеются. Тут Коленька плакать начал. Одному из конвойных не понравилось это, напёр на меня конём и выпхнул из строю. Так и осталась я с дитём средь дороги. Села на камушек, плачу, что разлучили меня с моим Федей. Потом в сумерках уж какие-то люди шли, нашептали, что всех ахвицеров в яру постреляли. Рассказали, где это место. Как подхватила – бегом к энтим ярам. А там уж свежей земелькой прикиданы все. Всю ночь ходила я по той земельке, Федю звала, всю душу выголосила. Никто не откликнулся. Что делать? Дитё уж захрипло от крику. Поклонилась могилкам, спросила у Феде прощения: «Пусти меня, ради Бога, – нужно как-то к дому прибаваться, Коленьку спасать-поднимать». Прителепала утром до квартиры, там, где бричка с нашими пожитками осталась, стала коней запрягать. А хозяева увидали, оторопели. Думали верно, что и меня со всеми прикопают, а им добришко наше достанется. «Как же тебя отпустили?» – спрашивают. Ничего не сказала им. Выехала со двора, правлюсь в обратный путь. Да не долго ехать пришлось – красный отряд повстречался. Глянули: бричка у меня справная и кони, хочь и подморенные, но добрые. Выгрузили мои узлы на землю, забрали и бричку, и коней. «Как же мне дальше быть?» – спрашиваю. – «Вон сбок дороги двуколка брошенная, а рядом кобыла хромя – забирай!» Запрягла я ту кобылёнку, кинула в двуколочку самое ценное, остальное оставила. Но и с этим долго праздновать не пришлось. Вёрст через тридцать и хромя кобылу забрали. Собрала узелок, сколько можно нести. На одну руку дитя, на другой узелок. Иду по степи, молитвы шепчу, а сама всё глазами тот кусточек ищу, под которым свёкра моего упокоили. Вот найду, думаю, поплачусь ему о Феде, помолюсь на могилке. А степь уж другая, нет тех снегов, что были, сколько глазу видать травка зеленится. Не узнать ни того места, ни того кусточка, так и прошла мимо. «Мне б только добраться до того хутора, где хво-

рую мамку оставили, – рассуждаю сама с собой. – Она, должно быть, уже поднялась. Вместе легче будет идти». Дошла, разыскала дом, а мамки в нём нет. «Где же она?» – «Померла, – говорят. – На другой день как оставили...» – «А где могилка?» – «Вон на том бугорку. Только там она не одна. Казаки хоронили полсотни душ до разу, и кто где лежит – неведомо». Пошла я на тот бугор, помолилась на все могилки, пожалилась на свою долю, да и зачикиляла с Колюшкой дальше. Людей добрых на земле много, где-то покормят, где-то ночевать пустят. Так и дошли...

Как умерла баба Стеша, я не видел. Свернувшись калачиком, я, не выпуская свой пистолетик, спал на стуле, и когда проснулся, в комнате было много людей, а баба Стеша, жёлтая, сухая, всё так же смотрела на иконы, но не дышала. Хуторские старухи – подружки бабины, хлопотали над её телом, крестились и шептали вполголоса:

– ...Слава тебе, Господи, отмучилась... Царствие Небесное...

– Может, увести мальчонку? – предложил кто-то.

– Не надо, – сказала мама. – Пусть будет... Ему не страшно...

...А потом съехались наши родственники... Все они причитали и плакали у гроба... Я тоже плакал... Ни на шаг не отступая от дяди Гриши, вис на его рукаве и обиженно хлопал носом: «Дядя Гриша-а... ты же обещал пистоно-ов... Обещал?.. Дядя Гриша-а...»

...И лишь одна мама сидела осунувшаяся, постаревшая и молчала.

...Недавно, после мытарств и скитаний, в тоске и унынии я вернулся в свой старый дом. Разгреб паутины, вымыл окна, и в посветлевшей комнате проявились потемневшие лики святых, так пугавшие меня в далёком детстве, а затем забытые мною, и, казалось, навсегда отвергшие мою душу.

Отчего же тогда, протирая полотенцем намоленные бабой Стешей иконы, я целовал их и плакал?..

Мокушка

Мокушка – чудаковатый старик невесть каких лет. Имя-отчество его давно позабылись, да и ни к чему они ему в домашней-то жизни; даже близкие зовут его Мокушкой. Так когда-то кликали его бабу, но об этом уже мало кто помнит. Он так уж свыкся со своим странным прозвищем, что оклики его вдруг по паспорту – не отзовется.

Когда Мокушка говорит – чуть ни на каждом слове покашливает и трясёт головой, оттого многим кажется, что он постоянно смеётся.

– Пенсию добавили... Кхе-хе-хе-хе... Во какие дела!.. – Бог весть чему удивляется старик.

– Как же, ты у нас инвалид войны, ветеран, участник... Заслужил... – успокаивает Трофимовна – старуха его.

– Участник... Кхе-хе-хе, – беззубо улыбается Мокушка, и неожиданно на самом деле смеётся. – Вояка хренов... Хе-кхе-хе... – потряхивая головой, кашляет он. – Только и успел каши поесть – война кончилась...

На каждое 9 Мая из администрации приносят ему подарки, справляются о здоровье.

– Некудышнее здоровье – сетует Мокушка, а в глазах его уже пляшут черти. – Раньше, бывало, ни одна девка от меня убежать не могла, а нынче дожил – ни от одной спастись не могу... Кхе-хе-хе... Какое ж тут здоровье... Хе-кхе-хе...

Мокушке улыбаются, но на встречи и митинги уже не зовут.

– Да и чего ему там делать, на встречах тех, – говорит Трофимовна. – Только народ смущать. Там люди заслуженные, повидавшие, а этот будет им рассказывать, как кашу он ел... Хоть бы сбрыхнул чего-нибудь – всё б внукам пример. Вон Дерюшкин, – всю войну в снабженцах пробыл, а таких страхов понараскажет – хоть Героя вешай.

Когда по большим праздникам Мокушке наливали – не откажется, но в последнее время Трофимовна такие дела пресекает.

– Его и без того телепает. Пока борщ поест – полчашки расхлюпает, а выпьет – и вовсе всё ходуном...

Иной раз заходят проведать соседи.

– Ну как тут Мокушка наш, жив, здоров?! – бодро окликают они.

– А что ему станется, – отвечает Трофимовна. – В одной поре. Недавно корреспонденша была. Она ему про войну, он ей – про кашу... Так ничего от него и не добилась – уехала.

– Хе-кхе-хе... – улыбается Мокушка.

– Ну, что ты ухмыляешься, кхекаешь?.. – сердится старуха. – Вон Дерюшкин догавкался – ему медаль какуюсь придумали. Гляди и тебе б...

– Орден. Кхе-хе... Как лучшему едаку... – трясёт головой Мокушка.

– Так ты и не воевал, что ли, Мокушка? – пристают с расспросами внуки.

– Хе-кхе-хе... Как же – воевал... С утра до обеда... Каши успел поесть... Кхе-хе-хе...

Кто каши не едал, тот войны не видал! – смеётся старик. – До того нас постным кормили, а тут выдвинулись на передовую – с тушённой. Во как!

– А что это «передовая»?

– А кто её знает... Я и сам понять не успел. Только и запомнилась каша... – вновь весело кашляет он.

– А ты стрелял, Мокушка?

– Куда?

– По немцам.

– Да я и не видал немцев-то тех...

– А за что ж тебе пенсия такая?

– Я и сам дивлюсь... Кхе-хе-хе...

– Так не бывает, чтоб ни за что... – обижаются внуки.

– Ну, кашу ж я ел!..

– Вот же окаянная холера, опять со своей кашей!.. – сердится Трофимовна. – Ты детворе про войну расскажи, чтоб знали, как оно там... Расскажи, как войну закончил...

– Да я и не помню как... – вдруг теряется Мокушка. – Мы с утра прибыли... Нам команда: станьте в лесочке и не высывайтесь до времени. Ждите, мол, распоряжения. В том лесочке каши-то и поели... Я котелок вмял, а мне старшина ещё черпак кинул. «Ешь, – говорит, – пока рот свеж, а завянет – никто в него не заглянет». Ну, я и этот черпак вмолотил!

– Ну, поели вы каши, и что потом? – торопят внуки.

– «Что потом»?.. Так мы ж в лесочке были... Разве разберёшь там, где немец, где кто... Дело к обеду. Кругом: «Бах, бах, бах...» А нам никаких команд. Командир и говорит мне: «Ты, Мокушев, молодой, – глаз зоркий, заскочи на сосну глянь, чего там и как...» Влез, глаза выпучил, верчу головой, как сорока...

«Чего видать?» – спрашивают.

«Ничего не видать...»

«Ещё погляди...»

Раззявился, лупаю во все стороны, тут пуля мне в рот и влетела... Кхе-хе-хе-хе... – трясёт головой Мокушка. – В рот влетела – за ухом выскочила... Кабы мозги... Молодой – какие там мозги... Вот и живой... Хе-кхе-хе... Спасибо хоть каши успел поесть...

Иван Сарвилович

Дожив до ста лет, Иван Сарвилович сумел сохранить не только здравый рассудок, но и что важно в его годы – крепкую память. Одна беда: ноги отказывались ходить. Да и как им ходить, когда одна нога смотрит на север, другая – на восток. В былые годы такое разное их положение не шибко донимало Ивана Сарвиловича, и он, плотничая по хутору, порой передвигался с такой резвостью, что не каждому и угнаться. Только ноги его при этом чудно ходили: одна выпрыгивала вперёд, другая выделывала такой замысловатый круг, что было трудно понять, куда он свернёт в этот миг, налево, направо или развернётся в обратную сторону.

Непросто найти в хуторе дом, к которому не приложил бы своих умелых рук Иван Сарвилович. Где-то рамы поставил, где-то наличники обновил, где-то полы постелил... Теперь годы взяли своё, и Ивану Сарвиловичу как бы до лавочки доковылять, и то слава Богу!

Внук Сашка берёт деда под руку и каждое утро выводит его во двор, усаживает на широкую скамью в тени старой яблони. Яблоню эту ещё до войны, в первый год, как стал жить с молодой женой Маней, прищепил к «дичке» сам Иван Сарвилович. Теперь яблоня разрослась и своей тенью покрывает дворик у дома.

Под шелест листьев и пение птиц старику думается легко. Своим костылём он чертит на песке какие-то дивные фигуры, при этом улыбается, а иногда даже смеётся, но, бывает, резко меняется – плачет, поэтому многие ошибочно могут вообразить, что он не в себе. Это не так. Улыбается и плачет он своим добрым воспоминаниям, а рисунки помогают сосредоточиться.

В обед за ним приходит внук Сашка. Тронув старика за плечо, окликает:

– Дед, пошли полудновать.

– Пора уж? – взглянув на солнце слезящимися глазами, отвечает старик.

– Пора.

– Такое дело пропускать нельзя, – усмехается Иван Сарвилович и, опираясь на костыль, пробует приподняться.

Пообедав, Иван Сарвилович вновь просит Сашку спроводить его под яблоню.

– Может, приляжешь, отдохнёшь? – предлагает внук.

– Да я не шибко то и уморился, – усмехается Иван Сарвилович. – Веди меня во двор, я хоть с птицами погутарю...

Усадив старика на лавку, Сашка обещает:

– Дед, я управлюсь со своими делами, приду к тебе. Посидим, погутарим...

– Управляйся, мне спешить некуда, – отвечает старик.

Деда своего Сашка очень любил, гордился его боевым прошлым и приписывал ему всяческие геройства, хотя сам Иван Сарвилович к героям себя не числил и над фантазиями внука посмеивался.

– Дед, расскажи, как ты был на войне, – подсаживаясь на лавку, просил старика Сашка.

– Да я разве был на ней? – усмехался Иван Сарвилович.

– А ногу где тебе рехтанули? – сердится Сашка. – На танцах?..

– Ну трошки прихватил... Самый краюшек... Только чуть макнули в огонь и отпустили.

– Дед, ты и в плену побывал? – пытается разговорить деда внук.

– Пришлось... Собрали нас, новобранцев, целый эшелон, двинули на Киев, – начинает свой рассказ Иван Сарвилович. – «На следующей станции, – говорят командиры, – выгрузитесь, там вам винтовки дадут, будете Россию спасать». Вот и станция. Стали. А на перроне немцы встречают. «Ком-ком»... А нам ещё и винтовок не выдали, нечем и огрызнуться. Выгрузили нас, построили и прямиком в лагерь, за колючую проволоку. А нас там одних хуторян больше ста человек – держимся кучкой. Среди своих всегда легче выжить. Огляделись – охрана слабая, даже вышки ещё не успели поставить. Скучкуемся и давай рассуждать, как нам оттель

драпануть, и когда драпанём, в какую сторону бечь. Только вроде обо всём сговорились, тут приехали какие-то немецкие чины, построили в одну шеренгу, приказали рассчитаться по сотням. Рассчитались. Все наши в одну сотню попали, а я не вписался, в следующую пошёл. Земляков в одно место погнали, а меня с чужими в другое... Стал я немцев просить-уговаривать, чтоб меня к своим направили, а те долго не рассусоливая прикладами мне по горбу настучали и дальше правят. Обидно, хочь плачь. Да-а... – выдохнул старик. – Господь видно приберегал меня для чего-то...

– Это как? – недоумевает Сашка.

– Из тех хуторян ни один не вернулся. Вот как... А нас пригнали в другой лагерь. Там уж и вышки, и собаки, и проволока погуще. Загодя предупредили всех, кто надумает бечь – смерть. Тут и неробкие приуныли. Сдружился я с одним парнем с Луганской стороны, вроде как тоже земляк. Серёгой зовут. «Робеешь?» – спрашиваю. Он лишь плечами повёл. Стали мы с ним придумывать, как нам на волю выбраться. Какой план ни возьмём, ничего не выходит – смерть. Но заметили такое дело: кой кто пристроился заготавливать дрова на немецкую кухню. Вот и мы туда просимся. Взяли. Дрова пиляем за лагерем. Выведет нас немец. Мы пилим, а он папироски покуривает. И так день, другой, третий... К нам уж попривыкли, вполглаза смотрят. Да и мы уж поогляделись, стали понимать: где что находится и куда дороги ведут. Одну делянку выпилили, – дальше, дальше от лагеря... Поймали момент, когда немец отвлёкся – и ходу! Да так хитро закрутили: не на восток побегли, где нас первым делом ловить станут, а на север. Потом уж как кругалю дали, выровняли путь... Днём по лесам ночуем, ночью идём. А дело повернуло к зиме. Одежка на нас слабая, стали в лесу зябнуть. Зашли в одно селишко, просимся на ночлег. А нам говорят:

«Идите к старосте, если разрешит – пустим. Тут у нас строго нынче».

Деваться некуда – идём к старосте.

«А вы кто такие?»

«Да вот такие мы и такие...»

«С лагеря убежали?»

«Убежали...»

«Так тут правило такое: вас положено назад вернуть».

«Ты совсем охренел, дядя? Мы оттуда ели убегли, а ты нас назад... Лучше разреши заночевать где-то».

«Тут до вас были такие ж, тоже просились. Я разрешил, а они у хозяйвов сапоги и фуфайку украли. А с меня люди спрашивают – я ж разрешил...»

«Нет, ничего не украдём, пусти».

«Ладно, – говорит. – Возьму ещё одну беду на свою голову. Идите вон в ту хатёнку, ночуйте там».

Заходим, а хатка бедная-бедная. Живёт там одна вдовая старуха.

«Вот, староста определил нас на ночлег».

«Ночуйте», – говорит без всякого интереса к нам.

Пригрелись у печки, а есть так хочется, аж глаза припотели.

«Бабушка, а нет ли у тебя что-нибудь покушать?»

«Нет ничего, милые. Сама не вечерявши...»

Глядим, а она тем делом сырой тыквачик на кусочки режет и малого поросёнка ими кормит.

«Бабушка, дай хоть тыквачика».

Отрезала она нам по скибке. Веришь, Сашка, – взглянув на внука, говорит Иван Сарвилович, – веришь, ничего вкуснее в жизни не ел! Так вот и добирались мы с тем парнем. Где из жалости покормят, где харчи отработаем – починим что-нибудь по хозяйству. Одежкой кой-какой разжились. Шинельки приметные, в них нас за версту распознать можно. Стали мы

их с Серёгой на домашнюю одежду менять. Никто не хочет брать. Прицепились к одному деду – он в своей деревушке тоже старостой числился.

«Возьми, дед, шинельки, а нам чего-нибудь попроще дай».

Тот полу шинели руками мнёт, а сам головой качает:

«Ненадёжное это дело – менять...»

«Это ж почему? – горячится Серёга. – Ты глянь, какое сукно! Сносу ему не будет!»

«Вот и носите... Я у вас их возьму, а ко мне сразу вопросы пойдут, откель у меня справа солдатская...»

«Скажешь, в степи подобрал».

Насилу уговорили. Дал он взамен нам своё барахлишко. Хоть и драненькое, а всё ж не в солдатском, не так приметно...

– Какие вам добрые старосты попадались! – смеётся Сашка.

– Всякие попадались... – вздыхает Иван Сарвилович. – За дорогу всяких людей повидали, и добрых, и злых...

– И что ж то за люди?

– Говорю ж тебе – всякие... Вот в одно место пришли. Видим – мальчишка навстречу.

«Здравствуй, – говорим, – парень».

А тот разглядывает нас и молчит.

«Нам бы где-нибудь обогреться...»

«А вы беглые?» – спрашивает по-взрослому.

«Нет, странники мы».

«Ну, пошли со мной, странники, устрой вас...»

Идём. Вводит он нас в дом и тут же отца окликает:

«Вот, папка, непонятно кто, странниками назвались...»

«И на чёрта ты их сюда приволок? Вёл бы сразу в участок».

Повернулся к нам, рассматривает нас со своей высоты. Сам здоровущий, как медведь. Такого и вшестером не одолеть.

«Кто такие?»

«А ты староста?»

«Тут я задаю вопросы! Да что тут и спрашивать, и так видно, что вы за масть... Ну-ка, Стёпка, беги в полицейский участок, а я покуда побеседую с ими...»

Мальчонка шмыг в двери и побежал по улице.

«Ну, рассказывать будете?»

«А что рассказывать, ты и так догадался...»

Огляделись. На столе добрый каравай лежит. Только с печи. Запах от него, аж в голове помутилось!..

«Дай нам хоть по горбушке погрызть», – просим медведя.

«Щас вас в участке накормят, аж с ушей полезет», – смеётся тот.

Видим, дела наши плохи. Я незаметно Серёге моргнул, а сам на окно посмотрел и говорю:

«Ну вот, лёгкие на помине, идут уже вон, твои архаровцы...»

Староста тоже в окно глянул – ничего не разглядел там. Подошёл ближе, притулился к стеклу, в этот момент Серёга изловчился и хряпнул его табуретом по башке. Оборачивается тот и удивлённо смотрит на нас, что это, мол, было? Серёга другой раз по темечку его стукнул, так, что табурет разлетелся. Тут и я подлетел, давай лупцевать его, чем под руку подвернётся, и всё больше норовим по голове ему настучать. По голове-то самое надёжное... Зашатался наш медведь, да и брякнулся со всего маху на пол. Видим: с ушей кровь потекла. Стало быть хорошо приложили... А по улице уж собаки брешут. Подхватили мы со стола каравай, высунулись во двор и сразу за сарай да через огород к лесу. Дали дёру, что есть духу. Только нас и видали там... Дня через три краюхе конец пришёл.

«Эх, – говорю, – зря мы тогда ещё и под пол не нырнули, там, небось, и сало было...»
«Так что, может, вернёмся?» – смеётся Серёга.

С тем и идём дальше. Видим: на краю леса женщина дрова в вязанку собирает. Тихонько подкрались к ней. Глянула на нас, как закричит!

«Тише, тётка, не шуми. Мы свои – православные... нам бы обогреться и покушать чего-либо».

Опомнилась, перешла на шёпот:

«Ой, милые, я бы и рада вас пустить, да полиция ноне жуть как лютует. Кажен день из двора в двор заглядывают. Говорят, в соседнем районе партизаны старосту убили. Не вы ли?...»

«Нет, тётка, мы ребята смирные. На нас такое и подумать-то грех».

«Ладно. Стойте здесь, я сейчас дрова отнесу и вернусь вроде опять... Соберу вам чего-то поесть...»

Сказала и пошла. А мы так поразмышляли с Серёгой: может она и на сам деле хорошая тётка, а может сейчас приведёт полицаев, и тогда уж не отвертимся. Не стали её дожидаться, ушли. Лучше, думаем, быть голодным да живым. Такие вот дела... Так вот и продвигались...

Расстались с Серёгой под станицей Луганской. Он к себе повернул, я – к себе. Добрался до дому. Вхожу, а Маня оторопела – в таком виде сроду меня не видела. Не сразу-то и признала. Потом как завизжит с радости. Повисла на шее. И смеётся, и голосит... Помылся я, побрился, оделся в чистое, стал на человека похож. А Маня меня накормила и говорит:

«Ты тайно не смей жить. Обнаружат – беда!»

«Что ж делать-то?»

«Иди в полицейский участок, зарегистрируйся».

А я совсем оробел. Такой путь проделал, а тут вдруг пойду, а меня арестуют и опять в лагеря.

«Не арестуют, – говорит Маня. – Ты здесь не первый такой явился. Там начальником Мишка Черенок, из наших кулаченных. Он своих никого в трату не сдал».

Делать нечего, пошёл. В центре хутора полицейский участок. Постоял у приступок, помялся, вхожу.

«Я вот такой-то и такой-то», – докладываю.

А Черенок исподлобья меня рассматривает, потом как гаркнет:

«Ты как в домходишь?! А ну выйди вон и зайди как положено!»

Вышел я на порог, стою оторопелый, не знаю, как и быть дальше. Опять захожу. Вижу в углу икона Спасителя, лампадка под нею тлеет. Наклонился, как бывало в детстве мамка учила, перекрестился.

«Ну вот, – уже спокойно говорит Черенок. – Это другое дело. А то поразучились при коммунаках... Рассказывай. С плена убёг?»

«Да я...»

«Ладно, коль в пути не попался, здесь уж никому не отдам. Но у меня порядок такой: без дела никто не должен сидеть».

«Без какого дела?»

«Ну, или в полицию...»

«Или?..»

Чернок усмехнулся, качнул головой.

«Церковь сейчас восстанавливаем...»

«Пойду церковь строить», – говорю с робостью – вдруг откажет. – И добавляю в спешке: «Я ж плотник. Плотники там нужны...»

«Н-да, нужны...» – соглашается тот. Отметил что-то в своей тетрадке, кивает на выход, мол, свободен.

Как на крыльях домой лечу. Прибежал, тут же стал инструмент собирать.

Маня:

«Не спеши. Завтра с утра пойдёшь».

«Нет, – говорю, – Маня, не буду ждать завтрава, уже сегодня пойду. Меня, может, Господь для того и сберёг, чтоб я ему послужил».

«Ну и славно... – шепчет Маня. – Иди... А то боялся... Видишь, как ладненько всё обернулось... Я ж говорила: Черенок, он человек добрый, благодетель наш – никого в обиду не даст, даром, что сам пострадал в своё время. Он... – Маня оглянулась по сторонам, словно боится, что кто-то подслушает, перешла на шёпот, – к нему бумаги от немцев приходят, а он прочтёт, потом выйдет на улицу и тихонько зовёт: «Ну-ка, бабоньки, стали кучней ко мне...» Мы собьёмся вокруг него. А он: «Так, Маня, ты быстренько свой краёк оббеги, всех из двора в двор... Ты, Валентина, по своему кутку пройди, ты, Катюха, по своему беги... Предупредите всех: немец на следующей неделе приедет свиней конфисковывать. Что хотите делайте, хоть в лес угоняйте, хоть режьте, но чтоб ни одной свиньи не было слышно. Немец пришёл и ушёл, а наше дело, чтоб ребятишки с голоду не подошли...»

«Вот наши придут и подвешат этого благодетеля...» – говорю я.

«Да придут ли?...»

«Придут, – говорю. – Такого ещё не бывало, чтоб нас насовсем одолели».

Иван Сарвилович о чём-то надолго задумался, и Сашке в эту минуту почудилось, что он дремлет.

– Дед... – осторожно окликнул Сашка.

Старик вскинул голову.

– Я думал, ты уснул.

Иван Сарвилович усмехнулся.

– Разное вспоминается... – сказал, словно оправдываясь.

– Церковь достроили?

– Достроили... Её, как наши пришли, сразу под госпиталь приспособили. Народу изувечного – тьма, где-то нужно спасать. Потом, после войны, как-ся подзабылось, что это церковь строилась – клуб с неё сделали...

– А Мишку Черенка подвесили?

– С Мишкой чудно случилось, – продолжил рассказ старик. – Как наши подошли, все, кто беду за собой знал, с немцами убежали, а Мишка остался... Стали в армию подгребать всех, кто отстал. Таких, как я, много набралось. И Мишка с нами ушёл...

– С полицаев и в Красную армию?!

– Выходит, что так... Передовые части лихо пёрли, Смерши, видимо, приотстали... Нас с ним в первом же бою и ранило, только он очунел и снова в строй, а я вот... Такое дело...

Склонив голову, Иван Сарвилович долго рассматривает свою ногу, словно видит её впервые.

– Такое вот дело... – повторил он. – Он, Мишка-то, довоевал. Сколько-то орденов заслужил. Был бы похитрее, уехал бы куда-нибудь в города и затерялся б, а он, дуралей, в хутор вернулся. Доброе, оно быстро забывается, а что полицаи, мигом припомнили. Донесли куда надо. В сорок шестом приехали и забрали его. Больше и не видали, куда подевался.

– А ты как довоевал? – спрашивает Сашка.

Неожиданно Иван Сарвилович весело хмыкнул, качнул головой.

– Довоевал... – усмехнулся он. – В первом бою в атаку поднялись, головы в плечи втянули и бегом на вражьи траншеи... Только и помню: подкинуло меня, и словно в чёрный омут ушёл. В память вернулся аж на другой день. Огляделся – вроде как вагон, колёса стучат. Рядом такие ж, как и я, – кто молчит, кто стонет...

«Иде я есть?» – спрашиваю.

«Санитарный поезд, – отвечают. – В госпиталь едем».

«А у меня что, ногу отняли?»

«На месте твоя нога».

«А что ж я её не чувую?»

«Сильно её помяло, – говорят. – Ну да ничего, – в Саратове госпиталь добрый, там твои кости до кучи соберут, через три месяца плясать будешь».

Вот стал эшелон на какой-то станции. Стоим и стоим.

«Чего мы стоим?» – спрашиваю.

«Дорогу чинят, раньше завтра не тронемся...»

Глянул в окно, а это Чеботовка – девять километров всего до дому! Вижу: знакомые хуторяне идут по перрону.

«Дед Игнат, тётка Дуня, вы чего тут?»

«Пшеницу на мельницу отвозили, щас домой правимся. А ты чего тут? Поранили?»

«Поранили... Маню увидите, нехай прибежит, попрощаемся, а то, может, и не увидимся боле...»

Вот Мане доложили, она у бригадира коня выпросила, да на бричке и прилетает прямо к перрону. Бегом к начальнику поезда.

«Отдайте мне мужа!»

«Как мы его тебе отдадим, он очень тяжёлый, его в госпиталь нужно».

«У нас в церкви госпиталь открыли. Отдайте, будет у меня под присмотром. И кормить буду, и ходить за ним – быстрее на ноги встанет».

Уговорила. Выдал начальник мои документы. Погрузила она меня на солому, чтоб не растрясти, шибко коня не гонит. Подъехали к церкви, где госпиталь наш. А там врачи взяли мои документы, прочли. Давай её ругать:

«Что ж ты, дура-баба, приволокла его сюда? Ему специальный госпиталь нужен, там, где рентген, чтоб видеть, куда какую кость тулить».

Маня голосить. Делать нечего, – поезд уже ушёл.

«Давайте как-либо сами притулим...»

В общем, взялся там один костоправ за дело. Ох и помучил же меня! И так и этак судомит кости. Бывало, как дитя плачу. А он:

«Маню свою благодари...»

Какся слепили до кучи косточки. Полгода срастались, наконец, стал потихоньку ступать. Пришла на Совет бумага – вызывают меня на комиссию. Поехал в Миллерово, разули меня доктора, а у меня мало того, что нога на сторону завернулась, так ещё и укоротилась. Выписали мне билет и отправили с Богом домой. Тут как раз и Мане время родить пришло. Бабы над ней хлопотали-хлопотали – ничего не выходит.

«Беги, Иван Сарвилович, в госпиталь, зови докторов, а то беда...»

Подхватился я и запрыгал к церкви. Прилетел, объяснил в чём беда. А мне говорят:

«Тут у нас совсем другой профиль. Ей акушер нужен, а у нас по солдатской части все. В этом деле никто не смыслит».

«Что ж мне делать?»

«Баб зови, они быстрее разберутся».

«Позвал – ничего не выходит. Дайте хоть какого-нибудь доктора, всё ж больше кумекает...»

Насилу уговорил. Согласился один фельдшер помочь, да только ничего и у него не вышло, ничем пособить не смог. Ребёночка всё ж таки кое-как достали, мамку твою, а с Маней совсем беда – кровью исходит. Пока без памяти, выйду и плачу во весь рот. Придёт в себя – кличет меня. Утрусь, чтоб она не видала, сяду на край кровати и давай бодро и весело с ней говорить. Всё, мол, Маня, хорошо и ладно, и девочка у нас славная, а то, что голова кругом идёт и слабость, доктора сказали, так и должно быть...

«Принеси, – говорит, – Валюшку», – она ей и имя уже придумала.

Приношу. Положил дитя ей тихонько под руку. Улыбнулась Маня и скоро уснула. Так и не проснулась...

Загоревал я тогда крепко. Так крепко, что сам чуть следом за Маней не двинул. Валюшка не пустила. Так и остался... А дале ты и сам знаешь всё...

Вечерами Сашка включает телевизор и смотрит чемпионат России по футболу. Болеет за местный «Ростов».

– Сашка, чего там шумят? – спрашивает Иван Сарвилович.

– Футбол, – объясняет тот и тут же весело добавляет: – Наши с немцами играют.

– Вон оно что... И кто ж кого?..

– Наши!

– Ну, слава Богу...

– Дед, давай я тебе включу фильм про войну, – предлагает Сашка.

– Не надо. Смотри свой футбол...

В воскресные дни Сашка отвозит Иван Сарвиловича в церковь. После каждой литургии, перед причастием старик ходит на исповедь, долго о чём-то говорит с батюшкой и по щекам его катятся слёзы. Сашке хочется узнать, в чём он кается и почему плачет. Но на клиросе громко читают молитвы «ко причастию», и они заглушают тихий голос Ивана Сарвиловича. Лишь одно слово успевают уловить Сашка: «Маня...»

После обеда Сашка, как и обычно, отводит старика на его лавочку, присаживается и некоторое время сидит рядом с ним, разглядывает чудные никому не понятные фигуры, которые тот рисует своим костылём.

– А знаешь, чего я подумал, – говорит Сашка. – Если б не баба Маня, не было б ни тебя, ни меня... Не забрала б она тебя с поезда, отрезтали б тебе ногу, как надо – и на фронт. А там, гляди, и убили б... И не было б ни моей мамки, ни меня...

Иван Сарвилович не отвечает, как и прежде, чертит свои узоры, молчит. Лишь много позже, когда и Сашка уйдёт по своим делам, и солнце перекаатится на другой бок яблони, тихо прошепчет уже сам себе:

– Може и так... На всё воля Господня...

Балерина – баба Лёля

«Вжик, вжик, вжик...» – ранним утром коса поёт звонче.

Баба Лёля, широко раскидывая ноги, пританцовывая, идёт впереди.

Я вижу лишь её сутулую спину да большие мужские руки. «Вжик, вжик, вжик», – в ровный валок ложится метличка. Я с любопытством жду, когда же она остановится, передохнёт. «Вжик, вжик, вжик...» – качается впереди её тень. Я приехал на недельку отдохнуть к бабе Лёле, но разве усидишь без дела, если старуха до зари на косьбу поднялась, вылёживаться – со стыда пропадёшь.

Утро ясное, утро свежее. «Вжик, вжик» – и, кажется, не коса – росинки звенят. Я прибиваю ход, но старуха не уступает. «Двужильная?» – думаю я.

– Баба Лёля, какой тебе год?

– Как? – баба Лёля, наконец, приостанавливается.

– Какой тебе годок? – кричу я.

– Да ты не ори, я чай при памяти. Годок спрашуешь? Я ещё на ребят поглядываю, – смеётся она, утирая широким рукавом рубахи пот. – В войну двадцать два было...

Снова поёт своё «вжик, вжик» коса – ложится трава. Баба Лёля умеет разговаривать, не отрываясь от дела.

– Я в войну такой неумёхой была – срам, – не оборачиваясь, говорит она. – За Васей сроду ничего не знала – всё он. Вася со двора – хоть помирай, ничего не ладится. Трое детей не дают шагу ступить. Батька твой старшим был – ему пять, а энти... Взяла Васину косу, пошла в сад. Елозя-елозя – нет дела.

Что ни махну, то в землю «носом» воткнушь, то на пень налечу. Я реветь во весь рот. Вот он дядя Устин: «Чего кричишь?» – «Да вот Вася ушёл... Воюет, а у меня дома коса разлаженная». Взял дядя Устин косу, махнул – трава так и легла. «Э-э, то ты, девка, разлаженная... она тебе не по росту...» Я пуще реветь. «Не кричи, я налажу». Пристроил ручку по мне. Взялась – легче получается, а сил нет. Вот дядя следом ходит и учит. Ему тогда девятый десяток шёл. Пособлять – никудышний, спасибо, совет даёт: «Ты, Лёля, на бугорок не коси, не потянешь, ты под бугорок, да под ветер. Под ветер трава сама под косу клонится. На пяточку жми, на пяточку...» И пошла я косарить.

«Ручками» не ходила – все кулигами танцевала. Здесь кулижку выхвачу, там, потом что останется – добиваю. Бывало, попервах самое худшее валю. Бью, бью – вот уж сил нет, а тут пырёёк остался, а как кто выхватит? – нет, давай дальше бить. И так, покуда не упаду с ног. Вот опять коса разладилась, ручка сломалась – опять реву. Как новую не прилаживаю – нет дела. К дяде Устину.

«Ну, что у тебя?» – «Ручка не гнётся. Какую ни гну – все ломаются». – «А ты из чего гнёшь?» – «Из вербы, как Вася». – «А где вербу берёшь?» – «Где ж, тут же, за садом». – «То не та верба, Вася из таловатки гнул». Принесла таловатку, приладила ручку. Косить – опять беда, коса притупилась, не берёт.

Как не бью брусом – не берёт. Давай до Устина. Взял тот молоточек, сел к коваленьке. «Тюк, тюк», а сам уж по косе не попадает, бог весть куда лупит.

«Дядя, ты, чай, разучился?» – «Что там разучился, я не вижу её, холеру». Что не видит глазами – признаёт, а не слышит – тут обижается, в оскорбленье глухим слыть. Бывало, кричу-кричу ему – не докличешься. «Дядя, ты чи глухой?» – «Чего? А-а. Чё там глухой – не глухой. Я не пойму только». Беру молоток, давай сама тюкать. Дядя Устин за плечом кряхтит: «На мягкую траву вверх оттягивай, на целинку – к низу...» Вот и косы сама научилась оттягивать. Всё через руки прошло, пока детей поднимала. Васе на фронт пишу: «Не убивайся там, Вася. Я сено уже накосила, а значит, слава Богу, с детишками переживём». Потом как спужаюсь:

вдруг как не поверит, что накосила сама. Ещё придумает там чего, и дописываю: «Сено косила под приглядом дяди Устина». А с дяди Устина какой приглядчик... За ним самим кабы кто смотрел, того и гляди в своем дворе заблудится.

Я – хороший косарь, меня с мальства баба Лёля учила – стыдно плохо косить, но не перестаю удивляться ей, откуда в ней эта сила, двужильная выносливость.

– Баба Лёля, ты у меня как балерина, – шучу я.

– Что такое говоришь, Сашка?

– Как балерина, говорю. Учёные подсчитали, что балерина приравнивается по нагрузке к косарю. Ты б у меня всех плисецких переплясала.

– Ну ты, Сашка, скажешь такое... – улыбается пустым ртом баба Лёля. – Тоже, балерина... – но самой сравнение нравится.

На просторе солнце и ветер быстро сгоняют росу. Скоро заиграла бронзовым блеском метличка.

– Ну что, баба Лёля, коси, коса, пока роса, роса долой – и мы домой. Пошли?

– Шас пойдём, Саша, шас, – обещает старуха. – Вот ещё до той яблоньки дойдём.

Вот и яблонька.

– Пошли, баба Лёля?

Солнце печёт, в тягость косьба, хочется в речку прыгнуть.

– Да ты иди, Сашка, иди, а я шас. Вот тут по вишнечку пройду. По вишнечку в тенёчке травка мягкая, и без росы косится.

«Вжик, вжик, вжик...» – разве ж оставишь старуху. «Рипь, рипь», – попискивает у меня разошедшаяся ручка.

– Ты б салом её смазал, что она у тебя южит, как телега, – посмеивается баба Лёля. Ей ещё до шуток.

Сенокосы здесь вольные, коси что хочешь, а баба Лёля за метличку берётся.

– Баба Лёля, давай пырей валить.

– Пыреи подождут, а метличка ещё неделю перестоит и пропала.

– Так покосят же пыреи за неделю!

– Ну, покосят, так что ж – всё нехватишь.

– Далась тебе эта метличка, – ворчу я. – На пыреях и руки б свежие были, и сена б навалили...

– Так пропадёт же метличка, – детским растерянным взглядом смотрит на меня старуха.

– Баба Лёля, тебя надо в Красную книгу занести.

– Это чего?

– Единственный экземпляр в своём роде. Не дай Бог помрёшь – больше таких не сыщешь.

Она у меня на самом деле чудачка. Косит-косит, потом станет. Цветок какой-нибудь попадётся, давай его обкашивать, да траву вокруг обирать.

– Баба Лёля, ты не женьшень нашла?

– Да нешто у нас он водится? Цветок... пусть себе...

Не успею я как следует закупаться – баба Лёля с вилами бежит.

– Ты чего, баба Лёля?

– Вон марь наплывает, не дай Бог дождь, – ворошить надо.

– Это марь от жары. Не будет дождя, – заверяю я.

– Ну не будет, и слава Богу, а пойдёт – не завернёшь. Он всегда, скоко помню, ни тогда, когда просют, а когда косят.

Своё поворошим, только домой правиться – чьи-то пыреи лежат, не ворошённые, снизу уж подпревать начали. Баба Лёля давай их ворошить.

– Баба Лёля – это ж не наше.

– Что ж, что не наше – пропадёт.

Хозяин застанет:

– Ты чего тут делаешь, бабка? Чего влезла в чужое?

– Так пропадёт...

– Тебе-то что до этого?

– Жалко, сгинет.

Недалече от нас мужики. До обеда косят, потом сядут в холодке, бабы ворошат – они выпивают.

– Надо ж какое здоровье! – восхищается баба Лёля. – Я после таких трудов и есть не могу, не то что пить...

– Пить, бабка, не есть – жевать не надо, – смеются мужики.

Вечером чуть живой сажу за столом. Баба Лёля кормит меня молодой картошкой и тёплым молоком.

– И охота тебе, баба Лёля, колотиться с этой коровой? Продала б её и отдыхала.

– Как же, ты ж вот приехал...

– Что ж... недельку побуду... Мог бы и у соседей купить.

– Да я уж и не могу, чтоб не мордоваться, – признается старуха. – Уморился?

– Да ну. Так...

– Вот такая история, – веселеют глаза старухи. – Идёт молодой казак сено косить, а старый на арбе с возом едет. «А ну, дед, прими с дороги, а то щас перепряну». Возвращается под вечер с косьбы – старый верёвки по дороге разложил. «Дед, убери верёвки, не переступлю».

– Это про меня, – усмехаюсь я.

– Укладывайся, Сашка, пораньше, – советует старуха. – Завтра сызнава чуть свет подниматься...

Пройдёт отпуск, но ещё долго будут ломить натруженные руки, а отойдёт новая Троица, прижарит июньское солнце, и меня снова потянет в далекий мой край, к бабе Лёле, где на старой грушине висит, дожидаясь меня, коса.

– Поеду к своей балерине, – говорю я.

– Зачем тебе это сено?.. – ворчит жена.

– Как же, там бабка совсем загноётся.

– Загноётся... она ещё троих, как ты, загноёт. Отдохнул бы, балерун.

– Вот и отдохну там...

Не так давно, когда я готовился в дорогу, мне сообщили, что баба Лёля умерла. «Надо ж такое придумать, совсем не болела, утром еще косила, а вечером померла».

Я приезжаю в хутор, отбиваю бабкину косу и иду косить.

«Вжик, вжик, вжик», – ложится в валки трава.

– Кому косишь, Саня, корову завёл? – весело окликают меня.

– Так просто кошу, никому... Может завтра и не придётся уж. Если хотите – забирайте.

«Чудненький, в бабку, видать, пошёл», – говорят про меня в хуторе. А мне радостно.

Людка солдатка

На Троицу украшенный цветами и травами храм преобразается и кажется светлей и просторней. По-особому пахнет ладан и разбросанный по полу шалфей. Когда-то в храм приходило столько народу, что не могли в нём втиснуться. Многие стояли в притворе. Сейчас же, несмотря на престольный праздник, в храме не многолюдно – десятка полтора женщин да старуха с осиротевшим мальчиком.

В левом крыле храма, под иконой Великомученицы Параскевы Пятницы, склонив голову, стоит Людка. Губы её едва шевелятся, голоса не слышно: то ли шепчет молитву, то ли подпевает хору: «Господи помилуй».

Людку, по мужниной памяти, в хуторе звали Солдаткой. С этим именем все так свыклись, что настоящую фамилию давно позабыли. Её мужа, Лёшку, с детства звали Солдатом, и с чего пошло это прозвище, никто уж и не припомнит, наверное, из-за упёртого характера – нигде никому не уступит, стоит на своём. В 2014-м ушёл Солдат в ополчение. При штурме Дебальцево, не оглядываясь, пошёл напролом, в снегу не заметил мину...

Людке о случившемся сообщил кум Николай, который всё видел. Та подхватила – давай пробираться в Луганск, там в госпитале лежал её Солдат. ВСУшники на блокпосту не пускали, да дурная баба через минные поля дунула. Повезло дуре – проскочила. Вечером уже в госпитале.

Лежит Солдат на серой простыне, нос на пожелтевшем лице заострился, нечёсанные волосы всклокочены, невидящим взглядом смотрит в обшарпанный потолок.

Села Людка на стульчик, целует заросшие многодневной щетиной щёки, расправляет свалвшийся чуб. Наконец заметил, улыбнулся натужно, тронул холодными пальцами её руку.

– Солдату по хрену мороз... Прорвёмся... – сказал свою извечную присказку.

Обнадёжил, а сам возьми да и помри в ту же ночь.

Хутора, до самой Станицы занятые украинскими войсками, быстро опустели. Разбежался народ, кто в Луганск, кто в Россию. Осталась Людка в оккупации с двумя детьми. Старшенький Витька, едва поднялся на ноги, не стал дожидаться, когда его заберут в ВСУ, вслед за другими тайными тропами пробрался в Луганск. Солдатская кровь взяла своё – вступил в ополчение. Младшему Юрке двенадцатый год, с ним далеко не убежишь. Парня поднимать нужно, а работы у Людки нет, одна лишь надежда на домашнее хозяйство да на свои руки. Вечерами перебирает Людка Солдатову одежду, благо с былых благополучных времён её немало накопилось. Из большого меньшее скроить нетрудно, перешивает на Юрку, чтоб тому было в чём в школу ходить. Так и выживали.

Восемь лет Людка с Витькой не виделись. Одна радость услышать по телефону голос его.

– Как ты там, сыночек?

– Всё нормально, – отвечает.

Голос бодрый, весёлый и на душе у Людки хорошо. Если голос глух и не твёрд, Людка знает, что-то не так.

– Как ты?

– Пойдёт...

Если «пойдёт», значит туговато, но о проблемах своих не скажет ни слова – весь в батю Солдата.

– Вы там, мамка, с Юркой не засиживайтесь, ему вот-вот восемнадцать – заберут в ВСУ...

– Куда же нам деться? Куда не кинь – всё перекрыто, поминировано... И дом бросить страшно. Не успел выехать – сепаратист. Всё растащат. Вон кума Николая семейство выехали – дом до самой земли разобрали...

– Нужно думать...

– Да уж думала-передумала...

Пока думали-гадали, забрали Юрку прямо с огорода, где он картоху капал, в украинскую армию. Подъехали на машине.

– Ну-ка, ходь сюды.

– Чего?

– Чёго-чёго... Сидай в машину, поихалы.

– Куда?

– Родину вид маскалей защищаты...

Людка было стала уговаривать, чтоб дали хоть денёк попрощаться.

– Знаемо ваш денёк... Через денёк приидимо – ищи-свищи. Нэ перший. Потим и собаками вашего Юрка не сыщешь...

Посадили в машину. Только Людка и видала его... А тут большая война...

Стоят братья по разные стороны, и чья пуля будет быстрее, неведомо никому. Роем летят снаряды и пули, а меж них Людкина душа витает. Плачет душа по обоим. Лишь себя клянёт Людка, что не смогла исхитриться и спрятать Юрку.

Пишет мать эсэмэски то одному, то другому:

«Витенька, не стреляй в Юрочку». «Юрочка, не стреляй в Витю...»

Вот Юрочка отвечает:

«Мама, если Витьку убьют, ты меня не вини, я в него не стреляю...»

«Юрочка, ты б убежал как-то оттуда...»

«Здесь не убежишь, мама. Только дёрнешься – нацики не церемонятся, стреляют на месте... Столько уже пацанов положили...»

Писал и Виктор:

«Мама, Юрки мне отсюда не видать, если и убьют кого-то из нас, не кляни выжившего. Здесь в основном арта убивает... А что уцелеет – зачищаем. Если сопротивление не оказывают, сдаются – нормальное отношение...»

Людка приходит на каждую литургию, о чём она молится, догадаться не трудно. Никто из присутствующих в храме не смеет лезть к ней с расспросами. Лишь наблюдают, в каком платочке она сегодня пришла. Если не в чёрном, то и слава Богу!

На исповеди Людка вспоминает свои грехи:

– Я, наверное, плохая мать – дефектная... – чуть слышно шепчет она. – Мне младшенького жальче старшего. Витьку тоже жалко, а младшенького жальчей, – признаётся батюшке Никону. – У Витьки двое детей уж... Конечно, если случится, без него подымать... А младшенький ни разу и не целованный девками... Младшенького жальче...

Когда служба заканчивается, все идут ко Кресту. Людка, считая себя недостойной, идёт последней. Сначала, осенив себя крестным знаменем, прикладывается к иконе, кланяется на все стороны людям, и лишь потом идёт приложиться к Кресту. Батюшка возлагает ей на голову крест и шепчет какие-то слова утешения. Людка согласно кивает, и по щекам её ползут слёзы.

Последний нонешний денёчек

В конце ноября, когда неожиданно завьюжило и стало не по-осеннему студено, Иван Власович занемог. У него вдруг стали ватными ноги, и по этой причине испортилась походка. Выйдя утром во двор, он неуклюже ковылял по мокрому рыхлому снегу, стараясь придумать себе какое-то неотложное дело. Но дел в эту пору было не много, а из неотложных только одно: нужно было срочно, до больших морозов, вытащить из воды и поднять на высокий берег лодку. Спотыкаясь и борясь с невесть откуда подступившей одышкой, он спустился к реке. На фоне белого снега она казалась зловеще-чёрной. Припорошённая снегом лодка всё ещё стояла в воде, и её успело уже сковать льдом. Она задержалась здесь из-за поздней рыбалки. Ещё на Воздвиженье Иван Власович ставил сети, и было много плотвы. В былые времена он рыбалил и в декабре, но всегда до прочного ледостава успевал достать «свою кормилицу» и оттащить в безопасное для неё место.

Неровной походкой Иван Власович подошёл к лодке, хотел сдвинуть её с места, но прибрежный лёд уже прочно держал её в своих объятиях. Тогда он залез в лодку, стал раскачивать её. Молодой, ещё не окрепший лёд пошёл волнами и отступил. Но и это не помогло, силы оставили старика, и как он ни тужился, лодка не хотела выползть на берег.

«Одному не управиться... – тяжело дыша, думал он. – Нужно б Серёгу и Лёху кликнуть...»

Раньше он поднимал лодку сам. Подкладывал под неё лёгкие сосновые бревнышки и, постоянно меняя их, вскатывал наверх. Сейчас же ноги его подкашивались, и кроме гулкового стука в висках он ничего не слышал.

«Хотя б так, в холостой дойти...» – впервые подумалось ему. Он уже почти сдался, успокоился, стал различать посторонние звуки, это его и сгубило. Где-то наверху играла гармонь, и он угадал Лёхин голос:

Ах, эта девушка меня с ума свела,
Разбила морду мне, пинджак сняла...

– Ну, паразиты, опять хлещут!.. – в сердцах сказал Иван Власович и повернулся к лодке. Он что есть силы потянул её на себя, лодка качнулась, скрипнула, ещё поднатужился... Вдруг в глазах вспыхнула яркая молния, и сразу стало темно.

Нашли Ивана Власовича лишь поздним вечером по следам на снегу. Раскинув руки, он лежал возле лодки, хрипло дышал и смотрел невидящими глазами в небо.

Больше двух месяцев он провалялся в станишанской больнице. То ли лечили его не так, то ли хворь оказалось крепкой, но намного лучше ему не стало.

– Ну, что говорят доктора? – спрашивала навещавшая его жена Мария, с которой он прожил без малого шестьдесят лет.

– А-а, что они понимают... – равнодушно махал рукой Иван Власович. – Сюда токо попади – живьём не выпустят...

Обеспокоенная, Мария подходила к врачу, но тот загнул такой мудреный диагноз, что перепуганная женщина так и не смогла ничего понять. Единственное, о чём она смутно догадывалась: с таким диагнозом долго не живут.

– Надо ж как его срубило!.. – жаловалась она куму Павлу. – Думала, снесу ему не будет, а он кувырк и свалился.

К Масленице, когда стужа пошла на убыль и все уже ждали скорой весны, Ивана Власовича, несмотря на его худое состояние, отпустили из больницы домой, и близкие догадались: отправили умирать. В ожидании скорой кончины, все враз засуетились вокруг старика. Зача-

стил в гости кум Павло, полчанин Ивана Власовича, с которым с сорок девятого по пятьдесят третий год служили они на Западной Украине, гонялись по лесам за бандами недобитых эсэсовцев. Мария вдруг вымыла окна и вне срока принялась освежать побелку.

– Что ты мордуешься по холоду?.. – задыхаясь, трудно говорил Иван Власович. – Дождалась бы тепла...

– По теплу других дел хватит... – уклончиво отвечала та. – Вон уж азовец подул, не сегодня завтра поплывём...

Иван Власович вспомнил, что у реки осталась не поднятая наверх лодка. Он вдруг взволновался и, с трудом приподнявшись в постели, долго смотрел в окно. Всё было серым и сумрачным: и снег во дворе, и оттаявшие стожки, и небо, и вербы у реки, и поле с открывшейся стернёй, даже солнце было бледным, почти призрачным. Серой сумрачной лентой виднелась ещё не вскрывшаяся река. Южный ветер и дождь подъели и без того неглубокий снег, зачернела бегущая в Погореловку дорога. Там, в Погореловке, живёт свояченица Ивана Власовича Людмила, с которой у него много лет назад случилась недолгая связь. С тех пор Мария разладила с сестрой, и та, уехав в Погореловку, ни разу не переступала порог их дома, хотя повзрослевшие дети её Серёга и Лёха жили сейчас по соседству в дедовском доме, родичались и заходили к ним ежедневно. Серёга был удивительно похож на Ивана Власовича, и это обстоятельство порождало в хуторе досужие разговоры.

Мария перехватила его взгляд и, вздохнув, усердней стала белить печь.

«Вот же окаянный, на ладан дышит, а всё туда ж смотрит...» – раздражённо думала она.

– Прибудет вода – унесёт лодку... – прервав её думы, с горечью произнёс Иван Власович.

– Не унесёт... Я её привяжу, – заверила Мария.

– А-а... – прокряхтел старик. – Растреплет о крыги в щепу...

«Нужно будет Лёшку с Серёжкой кликнуть, – подумала Мария. – Не угомонится, пока по его не будет...»

– Как там ребята?.. – угадав её мысли, спросил Иван Власович.

– А что им сдееется?.. – не тая недовольства на своих племянников, отвечала Мария. – С утра Масленицу празднуют – водку жрут да песни кричат...

Кряхтя и постанывая старик поднялся с постели. Неуклюже цепляясь ногами за половики и опрокидывая на своем пути стулья, он добрался до лавки, где лежала его шапка и, затёртый до блеска, полушубок.

– Ты чего это?! – встрепенулась Мария.

– Выйду... огляжусь... – с хрипом выдохнул Иван Власович.

– Погодь, я проведу тебя... – суетясь, помогала она ему одеться.

– Сам!.. – строго качнул он головой и, споткнувшись о низкий порожек, едва не упал.

Тяжело дыша, он долго стоял на крыльце, собирался с силами. Хозяйским взглядом осмотрел двор. Заметил: снег из под кустов винограда выдуло февральскими ветрами, и теперь, если их не укрыть, первым же морозом порвёт корни. Сырой воздух был густ и звучен. Рядом, в родительском доме Марии, захлёбывалась дырными мехами гармонь.

Ах, эта девушка меня с ума свела,
Разбила морду мне, пинджак сняла...
Угадал он по голосу Лёху.
Последний нынешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья... —

наперекор гармонии перекрикивал его Серёга.

«Лоботрясы...» – сердито подумал Иван Власович и, тяжело опираясь на палку, стал медленно спускаться к реке. Он заметил, что на быстрине появились первые промоины. Грязные обломки льда нависли над тёмной водой. Вмёрзшая в лёд лодка стояла на прежнем месте.

Вдруг, недалеко от тернового куста, прямо над снегом он увидел столб мошкеры. Сначала он думал, что померещилось. Протёр глаза, присмотрелся, так и есть – мошкара.

«Подскочит вода – унесёт...» – переводя взгляд на лодку, тоскливо подумал он.

Обратный путь был в гору и силы быстро покинули старика. В глазах зарябило, и Иван Власович перестал замечать дорогу. С каждым шагом сердце всё сильнее трепыхалось в груди, как выброшенная на берег рыба: он отчаянно хватал открытым ртом воздух и уже успел пожалеть, что так опрометчиво спустился к реке, как вдруг услышал скрип и повизгивание не мазанных на осях колёс. Это Лёха с Серёгой спускаются на бричке к реке.

– Ну что, ополоснулся? – весело скалится Лёха. – Тётка Манька прислала, говорит: дядька Иван купаться пошёл. Я так и знал, что ты придуряешься. Работать не хочешь, вот и придумал хворь!..

По обыкновению, Лёха развязный и хамоват, Серёга ж молчун. Его если не зазывать, слова от него не дождёшься.

Переводя дух, Иван Власович осмотрел бричку, тронул рукой сбрую. Постромки и гужины порасхлябились, ярмо клонилось набекрень.

– Эх, не хозяин ты, Лёшка... – хрипло произнес он. – Не хозяин...

– Зато у меня каждый день на пол-одиннадцатого, а у тебя на полшестого, – фамильярно гогочет тот.

«У тебя хоть кажен день и на полдень, а жинка ушла... Не хозяин...» – снова подумал он, но на этот раз, чтоб не задирать Лёху, ничего говорить не стал.

Не церемонясь, Лёха подхватил на руки Ивана Власовича, и, легко усадив его на бричку рядом с Серёгой, для залихватского вида сдвинул ему на ухо шапку.

Серёга легонько приобнял старика, на случай, если лошадь тронется резво, чтоб не дать ему свалиться.

– С Наташкой примирился? – поправляя шапку, спрашивает Серёгу Иван Власович.

Тот неопределённо пожимает плечами.

– Ты не дуркуй...

Серёга промолчал.

– Ну что, поскакали? – покручивая в руке вожжи, оборачивается Лёха.

– Пока ты тут с лошадей, лодку наверх встаните... – хрипло дышит Иван Власович.

– У меня кобыла не кована... – нехотя отзывается Лёха, которому неохота надолго прерывать начатый с Серёгой праздник. – Что с твоей лодкой станет...

«Не хозяин...» – с сочувствием оглядев кобылу, скорбно подумал старик. Ему вдруг живо представилось, что на кладбище Лёха будет вести его на этой расхлябанной бричке, и от этой мысли ему тут же стало стыдно и горько.

– Не хозяин!.. – уже у дома отстранив Лёху, вслух произнёс он, и чтоб не выслушивать его бесстыдных шуточек, тут же отвернулся и, пошатываясь, спешно закилял к крыльцу.

– Оттяну я твою лодку!.. – вслед ему прокричал Лёха. – Вот далась она ему... Завтра как-нибудь с Серёгой оттащим...

* * *

Наутро, как ни барахтался Иван Власович в постели – подняться не смог.

– Вот зачем было вчера надсаживаться, – строго отчитывала его Мария. – Ноги убил, теперь подняться не можешь...

– Лодку на берег подняли? – слабым голосом спрашивает Иван Власович.

- Подняли... – не скоро отвечает Мария.
- Унесёт на Донец лодку... – сокрушённо вздыхает старик.
- Да убрали твою лодку. Убрали... – уже уверенней врёт Мария.

Но Иван Власович знает, что его бессовестно обманывают, и от бессильной обиды он отворачивается к стене.

Под вечер пришёл проведать его кум Павло. В далёком пятьдесят шестом Иван Власович крестил его сына, с тех пор они не просто друзья, но и родня.

- Что там? Развезло?... – кивнув на окно, спрашивает Иван Власович.
- До обеда квасило, а щас подтягивает морозцем, – сообщил Павло. – К утру обещают до двадцати... Так что сракопад впереди...
- У нас так, – соглашается Иван Власович. – С утра льёт, к обеду метёт, а на вечер куёт...
- Телевизор глядишь? – спрашивает кум Павло.
- Гляжу, только не слышу... В голове шумит – не пойму ничего... Что там, ещё чертуется бандерва в Киеве?

– Это чертобесиво не скоро закончится. Как бы до нас не докатилось...

– Нехай токо сунутся... Я им, блядам... – храбро сжимает кулак Иван Власович. – Помнишь, как мы им отваливали?! – Не додавили сволоту, теперь детям нашим хлебать... – сетует кум.

- Как там наш Атаман? – меняя разговор, спрашивает о крестнике Иван Власович.
- Слава Богу! – коротко отвечает Павло. – Сейчас вон лодку твою с Серёгою тащат...
- Тащут?! – встрепенулся старик. Он так обрадовался этой новости, что чуть ни свалился с постели. – Да мои ж золотые... – запричитал он.

– Ну, вспёрли твою лодку! – торжественно объявила пришедшая со двора Мария. – Еле живые пошли... Как ты её сам ворочал?!

– Так без ума нелегко... – соглашается Иван Власович, и тут же глаза его загораются, и он начинает рассказывать, каким хитрым макаром он каждую зиму вскатывал эту лодку.

* * *

К ночи разъяснело; в верхнем крае окна показалась луна, и по комнате поползли бледно-синеватые тени.

- Маруся... – робко позвал старик.
- Вот она я, – готовно озывается та. – Надо чего?
- Кум говорит: мороз на завтрево...
- Что ж тут дивного, чай не лето.
- Земля заклёкнет, будут ребята долбить, мучиться...
- О Господи... Что тебе в голову лезет... – вздыхает Мария.
- Может, с утра отошлешь ребят, пусть загодя долбют...
- Да что ж ты не угомонишься никак?! – сердится Мария. – Кто ж живому копает?..
- Угомониюсь скоро... – по-детски обижается Иван Власович.
- Угомонишься – моя забота, так не оставим лежать.

Проходит ещё какое-то время.

- Маруся... – снова зовёт Иван Власович.
- Что?.. Что стряслось?.. – опять подхватывается она.
- Мороз на завтрево...
- Ну, мороз. Что с того? – не тая раздражения, с вызовом говорит жена.
- Надо б объедьями виноград прикрыть. Ахнет мороз, порвёт корни – опять неурод...
- Триста лет мак не родил, и голоду не было... – одеваясь, ворчит Мария.
- То так... – шепчет ей вслед Иван Власович. – Однако ж...

Он хотел сказать что-то убедительное, веское, но так и не нашёл нужных слов.

– Укрыла твой виноград, – войдя в дом, отчитывается Мария. – Какие ещё распоряжения?

С каждым днём всё слабел и слабел Иван Власович. Он давно уже не поднимался с постели, и все настойчиво стали ожидать его кончины. Но время шло, а он, вопреки ожиданиям, всё тянул и тянул.

* * *

В мае война подкатилась к самым окнам Ивана Власовича. Всё громче гремели оружейные залпы, от которых жалобно звенели стёкла.

– Бандерва? – кивал на окно Иван Власович.

– Бандерва... – кивала Мария. – В Погореловку лупят... Надо ж до чего дожились, в наши-то дни и по живым людям... Господи, последние времена... – крестясь, шептала она.

Сжимая кулаки, Иван Власович громко сопел, иногда Марии казалось, что он даже порыкивает, и со страхом она крестилась. Забывшись, старик успокаивался, дыхание его становилось ровней, и он переставал замечать происходящее. Но очнувшись, вновь звал к себе Марию:

– Людмила не приходила? – спрашивал он.

– Приходила... – врала она. – Ты токо уснул и она на пороге...

– Что ж ты не взбудила?! – сердится он.

– Ты так сладко уснул – жалко было будить. И Людмила не велела.

– Ты не жалея, если кто явится – буди. Я тама досплю своё... – наказывал он.

На самом деле Иван Власович знает, что Людмила не приходила, да и не так-то просто сейчас прийти, когда война за рекой и все кордоны закрыты.

– Если вдруг придёт, не гони её, – просит старик.

– С чего ты придумал, что я её гнать буду... – сдержанно отвечает Мария.

– Помиришь с ней, чего уж теперь делить... А то может так статья, что ей уж и жить не в чем... Вон как ахают...

– Да я и не в сердцах на неё, – заверяет Мария. – Пусть бегут – всем места найдём – и Людмиле и Кудеяру её...

Часто среди ночи он звал Марию к себе и начинал давать важные, как ему казалось, распоряжения.

– Ты тада куму Павлу сетку трёхперстовку отдай...

– Когда «тада»? – передразнивала его Мария.

– Вот тада и отдашь!..

– Да я чи понимаю в них, какая из них чего...

– Ну, ту, что по осени ставил. Ты ишо лист помогала из неё выбирать... А лодку нехай Атаман заберёт...

– Ты ж ребятам её обещал... Серёжке...

– Атаману она нужней... Пьют ребята?..

– Вчера гомонели...

– Ты там, как это... За Лёхою пригляди. Чтоб он не дюже на поминах наедался, а то... Людям на смех...

– Пригляжу... – обещает Мария.

Утром, когда боль отступала и Иван Власович наконец засыпал, к Марии приходила Павлова жена Полина.

– Ну, как он? – кивая на комнату больного, спрашивала она.

– В одной поре...

– Не лучшает?

– Жив и за то слава Богу...

– Ой, Полюшка, как захворал, таким несносным стал, – жаловалась Мария. – Такой командир! Попробуй не выполни его распоряжений – сердится...

Но через минуту она уже оправдывала Ивана Власовича:

– Он же до этой беды всё сам делал, я за ним ничего и не знала... А теперь, за что ни хватись – рушится без его рук... Как я без него останусь...

– Вот же досталось тебе!.. – сочувствует соседка. – Бельё скоко раз на день меняешь?..

– Под себя ни-ни-ни! – трясёт головой Мария. – От, как надумает по нужде – тужится, тужится, пока не досунется до края. Бухнется на пол, а там у него под койкою тазик... А назад поднимать – беда. Я ж его не подниму... Спасибо Серёга с Лёхой... Пьяные ль, тверёзные ль – в любую пору кликай – всегда прибегут. А нет – с другого боку Атаман ваш, тоже никогда не откажет... Кум Павло каждый вечер у нас... Начнёт рассказывать, что там деется, – кивает за реку Мария. – А этот хорохорится, кулачишками машет, и так матюхается, так матюхается... – сроду таких слов от него не слыхала...

Полина лишь сочувственно головой качает.

– А вчора слышу: вроде стогне дюжей. Я к нему, а он... Веришь, Поля, песню горлом играет. Слов не разобрать, но головою в такт подмахивает. Меня увидал – умолк.

– Может, вычухается ещё...

– Где там вычухается... Ноги уж захолонули... – всхлипывает Мария.

* * *

Ночью Атаману приснился скверный сон. Возможно, это был даже и не сон – какой-то странный фантом посетил его. Он проснулся оттого, что вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. В темноте стояло над ним какое-то тёмное существо. Оно не предпринимало никаких угрожающих действий, не тянуло к нему своих рук, даже лица его он не мог разглядеть, что было в нём: улыбка или оскал. Атаман только чувствовал на себе чужой взгляд, и уже от этого его охватила оторопь. Он хотел осенить себя крестным знаменем, но рука стала свинцово неподъёмной. Хотел что-то сказать, но на грудь словно взвалилась бетонная плита, и он не мог вдохнуть воздух, чтоб потом с выдохом что-то произнести. Задыхаясь, во все глаза он смотрел на странный призрак, не в силах прогнать его. В конце концов ему удалось вобрать в себя воздух.

– Господи, помилуй, – произнёс он чужим голосом и наконец перекрестился.

Видение тут же пропало. Атаман осмотрелся: кроме сумрачных теней, которые бросали от себя шторы, ничего постороннего. Жена Виктория тихо сопит у стены. Атаман поднялся с постели, прошёлся по комнате, но никого не нашёл.

«Что за чертовщина...» – подумал он, снова укладываясь в постель и пытаясь заснуть. Но сон не шёл. Атаман знал, что по старым приметам, чтоб дурной сон не сбылся, его нужно тут же рассказать кому-то. Но не будить же Викторию, чтоб рассказать ей весь этот бред, сна-то, по сути, и не было...

Так и не уснув, Атаман проворочался до утра. Утром встал уставший и разбитый; настроение его было испорчено, и потому встретил он пришедшего к нему в условленное время Серёгу не очень радушно.

– Ну что, готов? – Атаман осмотрел Серёгу чужим сторонним взглядом. – Что-то ты быстро собрался, – осмотрел его худой рюкзачишко.

– Голому собраться – только подпоясаться, – ответил Серёга.

– Датый? – вновь придирчиво рассматривает его Атаман.

– Это вчерашние дрожжи...

– Гляди, там сухой закон – мигом завернут...

Серёга молча кивнул.

– Теперь от меня никуда! В любую минуту дадут команду, и мы выходим...

- Мне б попроситься с тёткой и Власычем...
- Что ж ты вчера?..
- Да вчера я... Лучше на тверёзую...
- Тут рядом, сходи... – согласился Атаман.
- Я туда и обратно...

Атаман промолчал, но когда Серёга уже входил во двор Ивана Власовича, крикнул:

- Ты там старику не говори, а то он...

«Ему, может, будет легче знать, что я “там”», – подумал Серёга, но спорить не стал.

Всходя по ступенькам на открытую веранду, Серёга заметил, что крыльцо давно покосилось, скрипит и покачивается с каждым шагом. Он тронул руками стойки, глянул через перилу вниз. Так и есть, подгнили, надо бы заменить. Серёга подосадовал, что не занялся этим раньше, но тут же решил: как только вернётся – сразу же и починит.

- Тётя! Тётъ... – позвал он, входя в дом.
- Тишь, тишь... – замахала та руками. – Спит...
- Да я это... Я попроситься...
- Что? Чего ты придумал?.. Куда?.. – растерянно запричитала тётка Мария.
- Туда... – Серёга кивнул на речку.
- О, Господи... Без тебя там не управятся?..
- Я ж казак...
- Казак – жопой назад... – передразнила тётка. – Убьют тебя там дурака...
- Так... Сколько той жизни, тётъ Мань... А что тут? Только водку жрать...
- Здесь бы ещё пожил...
- Разве ж это жизнь?..
- Какая ни есть, а всё ж веселей, чем под травой.
- Тоска...

Серёга уже направился к двери, как в другой комнате послышалось шевеление и раздался сиплый голос Ивана Власовича:

- Серёжка?.. Чего он тут говорит?..
- Объясни... Он не дослышит... – сказала Мария.

Некоторое время Серёга в замешательстве стоял на месте, но вдруг глаза его вспыхнули, лицо преобразилось, и он стал удивительно похож на Лёху.

- До свиданья, дяди-тёти, уезжаю, хрен найдёте! – прокричал он и тут же вышел из дома.

Несколько раз Атаман порывался рассказать Виктории свой дурной сон, но всё не знал, с чего бы начать. К тому же в доме находились посторонние люди, которых ему сегодня надлежало переводить через линию. Кто его знает, как отнесутся они к подобной ерунде. Хорошо, коль посмеются, приняв его за человека лёгкого на суеверия, а если сами узрят в этой галиматье бог знает чего... Нет, они должны идти за ним с холодными головами, не отягченными дурными мыслями. Атаман вслушался в их разговор. В доме ждали перехода пять человек. Люди разные, как по месту жительства, так и по роду занятий. Бородатый богатырь из Новосибирска Юрий Усов только внешне выглядел простоватым увальнем. У него живой взгляд и умные пронизательные глаза. Усов историк, кандидат наук. Профессиональное любопытство не даёт ему покоя, и он засыпает присутствующих своими вопросами.

– Вот ты, Афанасий, – обращается он к худенькому, отнюдь не ополченского вида парню. – Как ты дошёл до такой жизни?

- До какой «такой»?..

– Ну от армии ты в своё время откосил... Университет, девочки, тусовочки... И вдруг бац! – На войну!.. Небось, и мамка не знает?

- Зачем ей сейчас?.. Только с чего ты решил, что я от армии откосил?

– Да видок у тебя не армейский... – ещё раз оглядев хилую фигуру Афанасия, делает заключение Усов.

– Зато в него попасть тяжело, а в тебя с закрытыми глазами не промахнешься, – смеётся Африка.

Африка – это Виталий из Питера. Он долгие годы проработал в Эфиопии, имел там свой бизнес, но как только случилось одесское побоище, бросил всё и вернулся домой. В каком-то общественном центре ему дали адрес Атамана, и вот он здесь, вместе со всеми ждёт перехода.

– Чем больше шкаф, тем громче грохот... – задиристо добавляет Афанасий.

– Да, с этим не поспоришь, – миролюбиво соглашается Усов. – Шкаф падает громко... И всё же, что тебя привело сюда?

– Может, тебе покажется высокопарным, но я здесь, чтоб защищать Россию. Служение Отечеству – единственно достойный удел русского человека, всё остальное – убогое прозябание и поиск оправданий своей никчемности.

– Сильно! – похвалил Усов. – А если об этом без пафоса?

– Если без пафоса?.. Я так подумал: как детям своим потом буду в глаза смотреть, если отсижусь...

– А ты не так уж и хлипок... – Усов впервые с восхищением смотрит на Афанасия.

– А ты, Африка? Что скажешь в своё оправдание? Как ты докатился сюда? Сидел бы под пальмами, ел кокосы... – продолжает свой допрос Усов.

– Тут без пафоса и не скажешь, – смеётся Африка. – Знаешь, я много размышлял об этом... ещё до войны. Об этом всегда думаешь... А тут, бах – в Одессе люди горят, а я под пальмой с кокосом в зубах... Это мой единственный шанс быть полезным Родине... Судьба... Потом до конца дней не простишь себе малодушия, и никакие бананы тебя не излечат...

В комнате было ещё двое, они приехали вместе из Крыма. Маленькая, похожая на мальчишку, женщина и высокий, нескладно скроенный мужчина, с пышной шевелюрой и идущей в дисгармонию с ней редкой рыжей бородкой. Его уже успели прозвать Хоттабычем. О себе Хоттабыч был немногословен, зато с восхищением говорил о своей спутнице.

– Муж Татьяны – известный в Крыму поэт, – рассказывал он. – Витька Синицын. Не слышали?

О Витьке Синицыне никто в комнате не слышал.

– Мы с ним друзья детства. Такие стихи пишет! Патриотические за Россию... Вот я вам сейчас... – Хоттабыч хмурится, пытается вспомнить.

– Не надо, – просит Татьяна. – Ты ж не умеешь читать.

– А-а, ладно... Так вот... Такие стихи... А как до дела дошло, давай, говорим, подождём, куда вырুলит... А Татьяна собралась и...

– Понятно, – улыбается Усов. – Ну и кем вы себя представляете там? – спрашивает Татьяну.

– Она мастер спорта... инструктор по выживанию. Знаете, есть такое – ходят в горы без спичек, без... с голыми руками. И нужно там выжить, костёр распалить, без топора сделать жильё, добыть съестное... – с вдохновением рассказывает Хоттабыч.

– Мне легче там будет, чем любому из вас, – улыбается Татьяна. – Я ведь могу практически всё. Могу готовить, могу стирать, могу лечить, могу стрелять...

– А ты? – дошла очередь до Серёги.

– Я казак, – просто ответил тот.

– Убедительно...

Усов хотел ещё что-то добавить, но в это время во двор Атамана на большой скорости влетела газель. Все прильнули к окну. Там мелькали красные околыши, из газели быстро выгружали полные мешки. Наконец всё закончилось, казаки, пообнимавшись с Атаманом, вскочили в машину и так же быстро уехали. Повернувшись к окну, Атаман махнул рукой.

– Так, братцы ополченцы, нам несказанно повезло, – выходя со всеми во двор, весело говорил Усов. – Казаки Атаману медикаментов подкинули, так что будем сегодня переть килограммов тридцать-сорок на брата. Так, батька?

– Быстро к мешкам пришивайте лямки, – скомандовал Атаман. – Будет легче нести.

Все приступили к работе, Атаман в это время звонил кому-то, разговаривал эзоповым языком:

– Едут на свадьбу гости, ждут приглашения.

– А дары везут? – спрашивали на другом конце.

– Есть и дары. Средства от похмелья...

– Это хорошо! – отвечали Атаману. – У нас с этой «свадьбой» все «алкозельцеры» закончились...

За делом ополченцы стали обсуждать, кому куда бы хотелось попасть. Африка и Усов рвались в Славянск, считая, что судьба Новороссии будет решаться там. Хоттабыч и Татьяна хотели попасть в Станицу Луганскую, и только один Афанасий рвался на Сапун-Гору, там могила его прадеда.

– Не спорьте, Атаман работает с Бэтменом и Мозговым, стало быть, нам к ним... – неожиданно заговорил молчавший до этого Серёга.

– А ты давно знаешь Атамана? – спросил его Усов.

– Знаю...

– Ну и как он?

– Были времена, мог разом пятерых на уши поставить...

– Убедительно...

Время было за полдень, когда с той стороны дали добро.

– Батя говорит: лучшее время для перехода – утро, но выходим всегда под вечер, – усмеяется Атаман.

– А если ночью? – предлагает Усов.

– Ночь не годится. Нацикам пиндосы приборы ночного видения подкинули. Они нас, как слепых котят, передавят. Днём-то мы с ними на равных...

Наконец все готовы. Жена Атамана перекрестила каждого.

– Ты б защитную панаму одел, – посоветовала мужу. – Сверкаешь своей лысиной – за три версты видно...

– Мне в шапке нельзя, – возражал Атаман. – Я в ней плохо слышу...

– Может, собаку возьмишь?

– Я сам как собака...

– Хоть голос подаст...

– Нам лишнего шума не надо...

Вереницей по одному спустились в пойму, узкой тропкой пошли вдоль реки к броду.

– Может, на лодке переправимся? – предложил Атаману Серёга.

– Нет!.. – отвечал тот. – Лодка как бельмо будет торчать на том берегу. Запалим место...

Вдруг Атаман вскинул руку. Все стали. Впереди слышалась музыка, голоса, чей-то смех... Сладко пахло шашлыками...

– Это на нашей стороне... – прошептал Серёга.

– На нашей... – согласно кивнул Атаман. – Мало ли кто здесь под видом беженцев... Звякнут по телефону и прощай... Обойдём от греха...

Вслед за Атаманом все ушли с тропы, пролезли буреломом, вновь вышли к реке. Всё ещё было знойно, и навьюченный на каждом груз давал о себе знать. Тропа то спускалась к самой воде, то убегала ввысь и терялась между деревьев. Все ориентировались лишь на широкую спину Атамана. В молодости он обладал недюжинной силой, легко жонглировал двухпудовыми гириями. В здешних краях его хорошо знали и побаивались. Но многочисленные ранения и

травмы с годами не прошли для него даром. Сейчас он заметно прихрамывал, и, морщась от боли, время от времени подёргивал плечом трижды сломанной правой руки. И всё же бывшая слава по-прежнему вселяла в него уверенность и заставляла верить в него других. Придя на место переправы, Атаман долго всматривался в противоположный берег. Он заметил, что красноголовый дятел спокойно крошит сухой ствол тополя, трясогузка скачет у воды – значит, поблизости никого нет. Наконец он обернулся к покорно ждущим его решения людям, сказал решительно:

– Будем переходить здесь!..

– Не нарвёмся на укропский пограннаряд? – робко спросил Арсений, которого заметно начало потрёпывать.

– Погранцы здесь не ходят... Это до войны они шлялись повсюду, теперь бздят отойти от заставы. Пришлые нацики насакаивают, но они ещё плохо знают тропы...

– А если кто выпасет?..

– Я два раза к ряду по одной тропе не хожу... Ещё вопросы?

– А ты гарантируешь, что нас безоружных?..

– Я даже жене своей не гарантирую, что меня не пристрелят на переходе! – прервал его Атаман. – Так что если кто сомневается – возвращайтесь, никого не осужу.

– Атаман, – разряжая напряжение, весело заговорил Усов. – А правда, что в молодости ты мог сразу пять человек на уши поставить?

– Дурное дело не хитро... – уклончиво отвечал Атаман.

Он обернулся к присутствующим. Все стояли на месте, никто не ушёл.

– А теперь слушайте и запоминайте. Первое – всем выключить телефоны. Никаких разговоров – звук по реке далеко катится... Раздеваемся догола... Оденетесь на той стороне. Дорога будет тяжёлой, натрете себе...

– Далеко идти? – спросил кто-то.

– Как повезёт... По-разному... – неопределённо сказал Атаман.

– С меня не сводить глаз. Поднял руку вверх – стали. Резко опустил – падаем. Рука в сторону – сваливайте туда... Если меня убьют – река справа. Всем возвращаться... И смотрите под ноги, чтоб ни одна ветка не хрустнула...

«Как можно не сводить глаз с Атамана и смотреть под ноги?» – весело подумал Серёга, но промолчал.

Атаман первым вступил в воду, перекрестился, и все следовавшие за ним приняли это как команду, тоже перекрестились, – кто-то легко и привычно, кто-то неуклюже – видимо, в первый раз. Перейдя реку, молча оделись, взвалив на себя поклажу, след в след двинулись за Атаманом по узкой, едва различимой тропке. Тропа повторяла изгибы реки; там, где река шла прямо, и тропка была пряма, там, где река сворачивала вправо, она следовала за ней.

Неожиданно тропу перегородило упавшее на неё сухое дерево. Ещё вчера Атаман проходил здесь – дерева не было. Скорей всего его свалил ветер, но могло быть и так, что «укры» специально свалили его на тропу, оставили как метку; если дерево убрать, то будет понятно, что именно здесь он проводит людей.

Серёга никогда не ходил этими тропами, но так как был с этих мест, представлял, куда они могут вывести.

– Деда Павла знаешь? – шёпотом спросил Атаман. – Его ещё Блином кличут...

Серёга поморщился, вспоминая. Кличка Блин ему была знакома, но самого деда Павла он не помнил.

– Сразу за старым руслом, под горой – пятый дом... прошептал Атаман. – Если со мной что-то случится, людей выведешь ты... – не дожидаясь Серёгина согласия, сказал он как уже о решённом деле, и, свернув с тропы, с трудом продрался сквозь цепкий кустарник вокруг

злополучного дерева. Теперь оно и для него будет знаком, – если завтра его уберут с тропы, значит, здесь проходили чужие.

Последние слова Атамана ещё более усилили внутреннее волнение, захлестнувшее Серёгу. Атаман шёл уверенно и скоро, не оборачиваясь, не придерживая шаг, словно забывши обо всех; ни одна ветка не хрустнет под его ногой. Там, где, казалось бы, нужно остановиться и оглядеться, он продолжает идти. И Серёга вдруг почувствовал себя ответственным за этот переход. Стук его сердца стал заглушать чужие шаги, и он боялся, что пропустит, не заметит что-то главное, и эти люди, идущие следом за ним, будут обречены уже только по его вине.

Удивительным образом Серёга умудрялся и смотреть под ноги, и не упускать из вида могучую Атаманову спину. Порой ему казалось, что он одновременно видит и справа, и слева, видит даже спиной. Видит, как обречённо идут шаг в шаг доверившиеся Атаману люди. Вон впереди огромная покосившаяся верба заслонила собой тропу...

«Идеальное место для засады...» – успевает подумать он. И тут же, как из-под земли, вырос на тропе человек в камуфляже с биноклем на груди. Шляпа-афганка затеняла его лицо. «Вот и нарвались... А всё потому, что бездумно доверились самоуверенному Атаману... Сейчас из-за вербы ударит длинная очередь, и Атаман даже не успеет вскинуть руку, чтоб подать остальным знак тревоги. Какая глупая смерть...» – как в гипнотическом сне, думает Серёга и даже не пытается спрыгнуть с тропы.

Наконец рука Атамана вздрогнула, стала приподниматься.

«Как странно, – думал Серёга, – одна и та же река, одна и та же земля, одни и те же хутора, один и тот же народ... Ещё недавно я ходил через эту реку по этой земле к матери, и никому не приходило в голову даже спросить меня, зачем я здесь... Но теперь, по чьей-то прихоти, только за то, что мы перешли реку, нас запросто можно убивать...»

Атаман вскинул руки и обнял незнакомца.

– Что, Петруха, чисто? – спросил он.

– Чисто, – ответил тот.

Шумно выдохнув, Серёга утёр со лба пот. Почувствовал, что идущие сзади тоже выдохнули. Не оглядываясь, он видел, как и они утирают пот.

Некоторое время шли опушкой леса, справа далеко просматривалось заброшенное, поросшее бурьяном и мелким кустарником поле. Раньше здесь были колхозные огороды, о которых сейчас напоминали лишь глубокие магистрали, по которым когда-то пускалась вода для полива. Слева над своими гнёздами верещали копчики:

– Пи-пи-пи... Пи-пи-пи... – несло по округе.

Не поворачивая головы, Атаман скосил глаза в их сторону.

– Они всегда верещат тут, – заверил Петруха.

Атаман не ответил.

Тропа снова вильнула в лес. Здесь было не так знойно, но идти было тяжелей: густые ветви беспрестанно хватали путников за головы, плечи, вещмешки... Неожиданно деревья расступились, и тропа резко покатила вниз, и Серёга увидел заросшее камышом и осокой старое русло реки. Было тихо до жути – ни шороха, ни птичьего писка. Атаман вскинул руку – все замерли. Он долго вслушивался в тишину, наконец взглянул на Петруху.

– Ты давно проходил здесь? – спросил шёпотом.

– Минут двадцать... Ну, с полчаса. Чисто...

Атаман поднёс к уху телефон и тут же опустил. Связи не было. Он вновь прислушался, даже потянул носом воздух.

– Чую... Зверем чую... – прошептал он, и всем стало не по себе.

Вдруг ему вспомнился ночной сон. «Это был не сон – явь! – догадался он. – Это моя смерть рассматривала меня!...»

– Валим!.. За мной... – выдохнул Атаман, и, взмахнув рукой, резко ушёл с тропы.

Все бросились за ним. Вслед отрывисто затрещали запоздалые выстрелы. Четверть часа, проламываясь сквозь заросли двухметровой крапивы, путаясь ногами в густой ежевике, обжигая руки и раздирая в кровь лица, бежали за Атаманом. Мешки стали неподъемно тяжёлыми, пот выедал глаза, и всем уж казалось, что это не кончится никогда.

Наконец ноги Атамана стали заплетаться, он дотянул до высокой вербы, и, упёршись в неё лбом, остановился, хрипло отдыхаясь, покосился назад.

– Все? Никого не потеряли? – задыхаясь, заговорил он.

– Все... – оглядевшись, сказал Петруха.

Атаман вновь поднял телефон, усмехнулся.

– Здесь низинка – плохая связь, – заметил Петруха.

Атаман взглянул на него и нервно расхохотался.

– А я ведь чуял... Чуял... Как зверь чую в последнее время... Рация на мази?

– На мази... – ответил растерянный Петруха и тут же робко добавил:

– Батя велел только в крайнем случае выходить...

Атаман молча забрал рацию.

– Батя, Батя, как слышишь? – всё ещё задыхаясь, заговорил он.

– Слышу, Атаман. Слышу... – прохрипела рация. – Что у тебя?

– Тесно стало жить в последнее время. Тесно и душно...

– Понял тебя...

– Буду уходить магистралями... Другого прохода нет...

– Гляди, на выходе простреливаются...

– Но ты же меня прикроешь?.. – хрипло рассмеялся Атаман.

Некоторое время рация молчала, наконец послышался треск:

– Я тебя понял, Атаман!

Атаман обернулся к обречённо ждущим новых его распоряжений людям.

– Ещё чуток прогуляемся... – успокаивающе сказал он, и, взмахнув рукой, быстрым шагом пошёл сквозь терновые заросли.

Ничего не соображая и даже уже не пытаясь разобраться в происходящем, все покорно двинулись за Атаманом. Только один Петруха, ломаясь через заросли, норовил поравняться с ним.

– Атаман, Атаман... Куда ж ты?.. Магистрали справа... Там будет Батя... – беспомощно шептал он.

Но Атаман не слышал его.

Больно хлещут по лицам колючие ветки, жжёт крапива, раздирает ноги колючая ежевика, щиплют от пота раны, надсадные дыхания сливаются воедино, и вновь кажется, не будет конца этому пути. Вот Атаман врезается в заросли камыша – под ногами зачавкала, покрытая тиной, вода. С каждым шагом всё глубже, глубже... Уже по колена, по пояс... Вдруг камыши расступились, и все увидели в полсотне шагов берег, сбегаящие по кособокому хуторские огороды. Какой-то старик, опершись на палку, стоял у самой воды.

– Все на месте, никто не утонул?! – уже не таясь, весело спросил Атаман.

Никто не ответил. Выйдя на берег, все молча повалились на траву, и только Африка неожиданно рассмеялся.

– Что, дед Павло, дождался? – Атаман обнял старика.

– Насилу дождался... – качнул тот головой. – По вас пухкали?

– Ну?! Разве «пухкали»? – смеётся Атаман.

– Да ну тебя... – сердится дед Павло. – Такой же брехун, как и Батя... Только Петруха со двора, тут едрёт твою такое пошло... Один за другим джипы с чертями, и все на тропу... Я телефон хватать – ни гу-гу. Бегом к соседке, и у ей не работает... Чуть с ума не сошёл...

– А Батя? На магистралях?.. – спросил старика Петруха.

- Да что он, дурак?.. Вон, разлёгся под виноградом как медведь, вас дожидается.
- Чё брешешь, дед Павло?.. Я Атамана прикрываю у магистралей!.. – весёлый голос под виноградом.
- Вот едрёт твою. А? – в сердцах кивает в его сторону дед Павло. – Племяша отправил, и хоть бы сердце у него ёкнуло...
- А чего ему ёкать – племяш с Атаманом... – раздвинув плети, Батя вылез на простор, повёл плечами – хрустнули кости. По-медвежьки обнял Атамана. – Ну, как я тебя прикрыл?!
- Да кабы не ты, и не знаю как бы я... – подыгрывает Атаман. Они знакомы давно и понимают друг друга с одних лишь им известным намёков.
- Тесно, говоришь, стало?
- Тесно... А я зверем почуюл...
- Дядь... Батя... Я всё проверял – чисто было... – на глазах Петрухи блеснули слёзы. – Ты думаешь, я...
- Только тут Серёга понял, что Петрухе не больше шестнадцати.
- Да брось ты, Петрух, – успокоил Батя. – Там тоже не дураки. Пасли тебя...
- Так что, больше ему не ходить? – спросил дед Павло.
- Пусть ходит... – подумав, ответил Батя, и добавил уже Петрухе:
- Рацию Атаману отдашь. Биноколь не бери – отнимут. И ходи. Каждый день ходи. Есть переход, нет – ходи. Пусть подрочатся...
- Не сговариваясь, все шестеро ополченцев выстроились в один ряд.
- Это Батя, – сказал Атаман. – Он теперь для вас Бог, царь и воинский начальник... Все вопросы к нему...
- Нас к Мозговому? – за всех спросил Усов.
- Ага, к Бэтмену и Мозговому... И сразу в бой!.. – с усмешкой ответил Батя. – В Дубраву вас отвезу. Там тренировочный лагерь – проверят, кто на что годен. Сейчас много поступает таких, кто и в армии не служил...
- И что с такими? – настороженно спросил Афанасий.
- Учим...
- Батя осмотрел строй измотанных трудной дорогой ополченцев, свой взгляд остановил на Татьяне, которая, впрочем, выглядела свежее других.
- Вас что-то смущает? – спросила она.
- Да нет... – уклончиво ответил Батя. – Работа для всех найдётся...
- Татьяна мастер спорта по стрельбе... – сказал Атаман, и, сделав паузу, добавил: – По стрельбе из лука.
- Нам бы ещё метателей копий... – усмехнулся Батя, но тему развить не успел.
- Хватит тут хахоньки разводять!.. – сурово подступил к нему дед Павло. – Ты привёз мне?
- Привёз... Вон чай, сахар, печенье... Будешь ребят угощать...
- Ты мне мозги не крути. Гранатомёт привёз?!
- Дед Павло, на хрена он тебе нужен?..
- Он мне нужней, чем тебе!.. Разъездились тут, гады... Туда-сюда, туда-сюда... Вон, сегодня Петруху чуть не прихватили... А был бы – я б им...
- Дед Павло, поставь чаю, – устало произнес Батя. – Нам скоро отчаливать...
- Обиженно сопя, дед Павло заваривал чай. Все присели на лавки вокруг стола, который стоял в теньку виноградной беседки. Где-то на горе один за другим громыхнули три разрыва. Дрогнула земля, звякнули ложки в стаканах.
- Это Кудияра за Погореловкой утуют, – глянув в гору, сказал Батя. – Последний блок-пост с севера. Не устоят – всё посыплется до самой Станицы...

– Во казачура! – не тая восхищения, добавил дед Павло. – Молодь похватила свои айфоны и драпает кто куда, а этому за семьдесят – с баррикады не слазит... Гранатомёт привезёшь?..

Батя поперхнулся чаем, закашлялся, но ничего не ответил.

Серёге было приятно слышать о Кудияре. Хотелось тут же всем рассказать, что это его отчим, но, по обыкновению, он промолчал.

– Погореловка наша? – спросил Батю.

– Да толком ничья... Утром правосеки чёрно-красные флаги вывешат, к обеду Кудияр посбивает их, вывесит свои, нет своих – российский повесит, к вечеру опять правосеки, ночью опять Кудияр. Так и тасуются...

– А что местные администрации? – спросил Усов.

– А то ты не знаешь наших чинуш!.. – махнул рукой Батя.

– Кто придёт – тем и служат, – добавил дед Павло. – Они, конечно, с радостью готовы служить нам, но приходят бандеровцы – без радости служат им...

– В Погореловку не заедем? – спросил Серёга.

– У него мать в Погореловке, – сказал Атаман.

– Сейчас нельзя туда, можно напороться. Отобъём окончательно – повидеешься... – пообещал Батя.

– А ты чего кислый? – взглянул на Атамана.

– Ещё раз отведу и всё... – сказал тот. – Ухожу к Бэтмену...

– Ты это брось дурку гнать! – сурово прервал Батя. – Этому гранатомёт, тебе к Бэтмену...

А людей через линию кто водить будет? Петруха?

Атаман молча вздохнул.

– И вообще, я тебе ещё за прошлый раз не ввалил!..

Атаман вскинул голову.

– Когда по нам из рожи стреляли, ты зачем со своей «мухобойкой» выскочил?

– Отвлечь на себя хотел...

– Отвлечь... Ты, Атаман, запомни, если меня убьют – завтра сюда другого пришлют, а тебя здесь никто не заменит. Ты нам живой нужен...

– Ребята там воюют, а я здесь...

– Не каждый мужчина, кто в кого-то стрелял, но каждый, в кого стреляли... – парировал Батя и взглянул на часы.

– Так, бойцы, закладывайте вещами зад микроавтобуса и по рюкзаку по бокам, –скомандовал он. – Будут стрелять – падайте на пол...

– Не напоритесь там... – строго сказал дед Павло.

– Не напоремся... Они теперь до ночи магистрали топтать будут, – подмигнул Атаману Батя.

– Хоть бы рыбаков там не постреляли...

– Пусть стреляют... – неожиданно произнёс Батя. – А то кому война, а кому рыбалка... Как только начали нас долбить под Станицей – толпы беженцев ломанулись к границе. И кто попереди всех? Рыбачки... Бегут здоровенные мужики. У них дома попалили, детей побили, а они ломаются попереди баб... Кудияр на своём блокпосту порядок мигом навёл – женщин, стариков, детей в первую очередь, а мужикам говорит: «Наденете бабские колготки, тогда пропущу!»

– И что же, надели? – улыбнулась Татьяна.

– Некоторые одумались, вернулись, а в основном «надели»... – морщится Батя.

На прощанье он обнял деда Павла, ткнул кулаком в плечо Атамана.

– Ты это... Куда тебе в твои годы... Там молодые нужны, там бегать надо...

– Ну да... А тут я не бегаю... – сказал Атаман и потёр кулаком засохшие на лице грязные потёки пота.

Прощаясь, он обнял каждого и каждому попытался найти нужное слово: «Ты, Ус, не вздумай погибнуть, тебе ещё нашим детям историю писать», «Хоттабыч, на тебе Татьяна...», «Татьяна...» – Татьяне ничего не сказал, только поцеловал в лоб.

Атаман перекрестил отъезжающих, и ему сразу стало одиноко и грустно.

– Плесни чайку, – попросил деда Павла.

– Что-то на тебе лица нет. Может, карвалолу плеснуть?

– Плесни чего-нибудь...

– Загонял ты мотор...

– А-а...

– А я как переволюваюсь... Тут у меня одно средство... Может, пересидишь у меня до завтрава, а на зорьке...

– Не, – мотнул головой Атаман.

– На зорьке спокойней.

– Мне одному и сейчас спокойно...

* * *

По вечерам Ивана Власовича купали. Мария наполняла большое старинное корыто тёплой водой. Чтоб приглушить уже начавшиеся пролежни, добавляла чуток марганцовки и густой настой из чистотела, дуба, ноготков и листьев бузины. Лёха брал старика на руки и осторожно опускал в воду. Иван Власович легонько постанывал, крихтел, но процедуру омовения выдерживал до конца. Наконец, Лёха поднимал его из корыта, и пока держал над водой, Мария промокала его сухой простыней. Чистого, осушённого Ивана Власовича укладывали в свежую постель.

– А куда-то Серёжка подевался? – спрашивал Иван Власович.

– Туда... – кивала в сторону реки Мария.

– К матери, что ль, к Людмиле?..

– Туда, куда тебя кажен день мордует... – тихо ворчит Мария.

– Громче ты говори! – прерывисто дыша, сипит Иван Власович. – Щебечешь как пичуга, ничего не пойму...

– К матери пошёл! – громко кричит Мария.

– К матери... к матери... – раздумывая, бормочет Иван Власович. – Убьют его там, дурака...

– Чегой-то его убьют?! – с вызовом подступает Мария. – Втемяшил себе дуротень...

– Он жа тамо вконец сопьётся...

– Не сопьётся – у Бэтмена сухой закон, – возражает Лёха.

– Да! – подхватывает Мария. – Там за такие дела чуть ни до смерти расстреливают!

– Вон оно чего... Но тогда может и уцелеет, – успокаивается Иван Власович.

– А кто этот Бэтмен – немец, жид? – спрашивает через время.

– Русак! – кричит Лёха.

– Русак?.. А имечко у него...

– Это он позывной такой для форсу придумал, чтоб бандеров с панталыки сбить.

– Вон чего...

– Я б и сам туда пошёл, да с меня какой толк, только в ногах путаться... Да и кобылу куда денешь?.. Пропадёт без меня... – оправдывается Лёха.

– То так... – соглашается Иван Власович то ли с тем, что кобыла пропадет, то ли с его непригодностью.

* * *

Рано утром в дверь постучал Атаман.

– Тётъ Мань, – тихо позвал он.

– Убили?.. – выскочив на порог, выдохнула она.

– Убили... – кивнул Атаман. – В первый же день, в Дубраве... Самолётами разбомбили...

– Я как знала... – крестясь, прошептала Мария. – Да и он сам знал... Деду ни гу-гу!.. – прижала палец к губам.

– Да это понятно... Сейчас мы с Лёхой за ним... Придёте потом помочь, чтоб всё как...

Батюшку надо...

Утирая слёзы, Мария молча, кивала.

– Что, твоими тропами, через брод? – подогнав бричку, спросил Лёха.

– Моими тропами конём не пройти. Может, с украинскими пограницами договоримся?..

– Договоримся... – уверенно кивнул Лёха.

На бричке поехали через мост, стали на нейтральной полосе. Атаман с кем-то созванивался, но на той стороне была какая-то задержка. Атаман нервно всматривался в украинский погранпост, Лёха лихорадочно тискал в зубах сигарету.

– Ты думаешь, я туда не хочу?.. Меня кобыла держит!.. – не тая раздражения, говорил он.

– Ничего я не думаю... – хмуро отвечал Атаман.

– Думаешь!.. – комкая недокурную сигарету, зло выкрикнул Лёха. – А куда её деть?..

Возьмёшь кобылу?!

– На что она мне?.. За кобылой уход нужен, это не кошка – выпустил и пусть мышей ловит...

– И я про то ж! Держит зараза по рукам... Если б не она – вперёд Серёги там был...

Атаман не ответил. Достал телефон, снова начал созваниваться с кем-то.

– Сейчас договорюсь с нашими... Жди, – наконец приказал он и отправился к российским пограничникам.

Лёха, понутив голову, покорно остался ждать. До него доносились обрывки разговора:

– Ну и как ты себе это представляешь, Атаман?.. – голос старшего лейтенанта Климова, старшего по заставе.

– А чё там... стволы к бошкам приставим...

– Ты совсем охренел, Атаман?! Это ты здесь сам по себе воюешь, а я здесь – Россия. А Россия в войну не вступала!..

– А я на тебя рассчитывал, старлей...

– Рассчитывать будешь, когда у нашего бара драка начнётся!..

– У бара я и без тебя справлюсь!.. – зло сказал Атаман и двинулся к Лёхе.

– Пойдём... – приблизившись, глухо сказал он, и Лёха понял, что никто им сейчас не поможет.

– Теперь не мешай мне! – неожиданно властно произнёс он, и, отстранив Атамана, держа в поводу лошадь, уверенно зашагал к украинскому посту.

Подойдя к шлагбауму, не церемонясь, оборвал удерживающую его верёвку. Шлагбаум взмыл вверх, так, что кобыла от неожиданности подпрыгнула на месте.

– Э-э, дядя, ты чего?! Заблудился?! – выскакивая из сторожки, бежали навстречу украинские пограничники.

– Так, ребята... – подождав, когда все соберутся у шлагбаума, прохрипел Лёха. – Расклад такой: вон подходит машина, везут моего братку. Если кто... Если хоть одна блядь из вас дёрнется – убью всех до единого!..

Всё это Лёха произнёс настолько уверенно, что даже Атаман уверовал, что именно так всё и произойдёт. Тут боковым зрением, почти затылком, он увидел, как к нейтральной полосе подтягиваются наши пограничники. Атаман знал, что дальше нейтралки они не пойдут, но сердце его возликовало.

– Не испытывайте судьбу, ребята! – оскалился Атаман, и в этом оскале читались и отчаянье, и весёлость, и какой-то бесшабашный вызов.

Лёха передал ему вожжи, раскинул в стороны стволы, уверенно шагнул сквозь строй ещё минуту назад самоуверенных людей. Они молча расступились перед ним; потупившись, каждый смотрел себе под ноги, словно ждал какой-то особой команды, но команда не поступала.

А Лёха принял из машины ещё податливое, не успевшее заостенеть тело; взвалив на плечо, вернулся сквозь расступившийся строй и осторожно уложил его на бричку головой назад.

– Живите... – закрыв за собой шлагбаум, вместо благодарности, прохрипел он. Взяв из рук Атамана вожжи, развернул бричку.

На другой день Отец Антоний отпевал «убиенного воина Сергия». В комнате пахло воском и ладаном. Серёга со скрещенными на груди руками лежал в тесном гробу и, казалось, внимательно слушал заупокойную молитву. Лицо его было спокойно, в нём не было отображения ни страха, ни мук, скорей оно выражало некое изумление.

О гибели Серёги Ивану Власовичу не сообщили. Смутно о чём-то догадываясь, он спросил пришедшую с похорон Марию:

– Что там такое?..

– Какое? – грубовато переспросила та, чтоб уйти от конкретного разговора.

– Ну, гомон...

– Где гомон?..

– Там... – кивнул на окно Иван Власович.

– Не слышу никакого гомона, – уверенно сказала Мария. – Придумал себе...

Мария старалась вести себя обыденно, и Иван Власович к этому разговору больше не возвращался.

На поминах Серёги Атаман крепко выпил, что случалось с ним крайне редко. Помолясь в конце трапезы, он с трудом вышел из-за стола и, не вступая ни с кем в обыденные в таких случаях разговоры, пошатываясь, молча, ушёл к себе. Лёха ж, вопреки ожиданиям, на поминах не напился, даже не пригубил. Он может и хотел бы выпить, но как-то не получилось. Когда все присутствующие выпивали «за упокой раба Божьего Сергея», он вместе со всеми поднимал стопку, но тут его вдруг начинали трясти рыдания. Расплескав на себя водку, он ставил порожнюю стопку на стол. Когда поднимали по второй и по третьей, – всё повторялось.

– Серёга не хочет, чтоб я... – выдавив из себя, Лёха впервые заплакал.

– Вы на меня не смотрите, я... Да чего там... Поминайте братку, – просил он присутствующих. – Вас он не осудит...

Глаза его были пустые и неподвижные. Казалось, он ослеп, но сам ещё не догадался об этом.

* * *

Батя, как обычно, запаздывал, и Атаман привёл людей далеко за полдень. Солнце, перевалив за росшие вдоль старого русла вербы, уже клонилось к горе. Оттуда отчётливей слышался треск горящей травы и кустарников, резче запахло дымом, что всегда случается перед вечерней прохладой.

– Укропы хлеба зажгли, – сообщил Батя. – Сегодня уже седьмое поле догорает...

Где-то совсем близко один за другим ухнули три взрыва.

– Кудияра из саушек добивают... – вглядываясь в затянутую дымом гору, добавил дед Павло.

– Не удержите блокпост? – спросил Атаман.

– Да там уж и нет никого, один Кудияр... – сказал Батя. – Вчера пятерых ребят положили... Какие парни!.. Дали команду отходить... Теперь там один Кудияр...

– А он что?..

– Крышу, видать, подорвало... Пробовали его эвакуировать. Где там!.. Палит без разбору на четыре стороны... Гляди, на обратном пути не попади в его радиус...

Узкой, едва приметной тропкой, нахоженной козами, Атаман шёл под самой горой. Здесь нет дорог; старые пути давно размыты, порезаны ериками, сбегаящими с горы. Едва ли тут рискнёт кто-то проехать, поэтому чувствовал он себя в некоторой безопасности.

Вдруг вверху треснули сучья – по размытому склону покатались вниз мелкие камушки. Атаман поднял лицо и вскоре заметил: по белому оголённому склону, осклизаясь и падая, двигался к нему пьяной походкой человек в разодранной одежде. Одна штанина была наполовину оторвана, наступая на неё, человек спотыкался с каждым шагом. Вдруг он замер и вскинул автомат.

– Кудияр?.. – окликнул Атаман.

– А-а... Атаман... Тебя ещё не убили?..

Спустившись вниз, Кудияр обнял Атамана. На белых усах его подрагивали грязные капли, – не то пот, не то слёзы.

– Ещё жив... Жив... – бормотал он. – А я... У меня вчера таких ребят положили!.. Слышь, Атаман, таких боле не будет!..

Кудияр отёр лицо о грудь Атамана, наконец, отстранился.

– Всё, нет блокпоста... – выдохнул он. – Не удержим Станицу... И Бате недолго здесь гулять... Сегодня ночью все, кто помоложе, за Донец ушли, а я... Куда мне?..

– Давай переведу тебя в Россию, – предложил Атаман. – Здесь у меня тропы свои...

– А я и есть в России! – с вызовом сказал Кудияр. – Вот она, Россия! – притопнув ногой, закричал он. – Вот она, под ногами!..

– Не кричи, – крепко прижал его к себе Атаман. – Услышат...

– Пусть слышат!.. – упрямо хлопал разодранной штаниной Кудияр.

– Ладно... Кто ж с этим спорит... Конечно, Россия... – успокаивал Атаман. – Куда тебе здесь оставаться; давай через Деркул переведу...

Кудияр отстранился, некоторое время с удивлением рассматривал Атамана, наконец, отрицательно мотнул головой.

– Как я уйду? А Людмилу кому оставлю?..

– Давай всех переведу. И Людмилу...

– Не-е-т, куда нам идтить?.. – успокаиваясь, рассудительно заговорил Кудияр. – Тут у нас всё своё – и дом, и хозяйство... А там?.. Приживалками к Серёге и Лёхе?..

«Значит, за Серёгу ещё не знают», – догадался Атаман и промолчал.

Отвернув от горы, Атаман углубился в лес. Задумавшись, он давно перестал замечать дорогу; ноги сами находили верный путь – где надо сворачивали, где надо переступали через валежник. Он понимал, что нужно почаще останавливаться, осматриваться, прислушиваться, как он всё время делает, когда за его плечами доверившиеся ему люди. Но людей он уже отправил с Батей, и упадок сил всё сильнее и сильнее давал о себе знать.

«Господи, как я устал!..» – взявшись за голову, думал он, продолжая идти.

– Стой! Стоять!.. – у самого виска прозвучал властный голос.

Он давно ждал этого оклика, и всё же, кажется, он застал врасплох. На мгновение Атаман застыл на месте, но тут же стал медленно оборачиваться.

– Стоять, не оборачиваться!.. – нервно закричал второй голос. – Не оборачивайся – пристрелю!..

– А так бы не пристрелил? – обернувшись, с усмешкой спросил Атаман.

Это у него нервное. Когда он теряет самообладание – всегда всё делает с вызовом и вопреки здравому смыслу.

Два ствола смотрели ему прямо в лицо.

«Только двое, – осматриваясь, подумал он. – Поблизости больше никого – двое...»

Про себя он тут же означил своих врагов понятными лишь ему самому именами. Так, высокого долговязого парня, который первым окликнул его, назвал Длинным, и второго, приземистого, широкого в плечах, обозначил Коротким.

– Атаман? – спросил Длинный.

Атаман не ответил.

– Ну и где твоё войско, Атаман? – с насмешкой спросил Короткий.

Атаман инстинктивно покосился туда, где только уехали с Батей вверенные ему люди, где остался на берегу старого русла дед Павло, где прошёл своими тропами растерзанный Кудияр... Все они на какое-то мгновение ожили в его памяти, но он промолчал.

– Что, москалик, смерти боишься? – скривив губы, смеётся Длинный.

Атаман молча пожал плечами.

– Тебя спрашивают: смерти боишься?! – нервно ткнул его стволом в лоб Короткий.

– Не пробовал, не знаю...

– Сейчас попробуешь! Пошёл вперёд!..

– Нет, ребята, никуда я не пойду. Хотите, стреляйте здесь...

– Ещё как пойдёшь! На карачках сейчас ползти будешь!..

Крутнувшись на месте, Короткий ударил Атамана ногой в живот. Тот перегнулся от боли, сделал несколько шагов назад, но на ногах удержался.

«Нужно заставить его нервничать и идти на сближение...» – думает Атаман. В уме его уже выстраивается некая комбинация.

– Это и всё, на что ты способен? – скрывая боль, усмехается Атаман. – Ну-ка махни ещё!..

Короткий злится, размашисто бьёт, но Атаман уже ждёт этот удар и легко уворачивается. Провалившись, Короткий, едва не упав в кусты, сам идёт на сближение, цепкой рукой хватая Атамана за воротник. Теперь автомат его в левой руке, и он больше мешает ему.

– Не дёргайся, от меня не вырвешься! – задыхаясь от злобы, рычит Короткий. – Знаешь, как меня кличут среди своих? – Алабай! Хватка у меня мёртвая... Понял меня? Ну, отвечай. Понял? Что перекошил рожу?

– Не люблю собак...

– Полюбишь... Берцы мне лизать будешь...

– Дурачок ты... – выводя соперника из себя, улыбается Атаман.

Сильный удар в голову потряс его, в глазах вспыхнуло пламя, колени его подогнулись. Это Длинный ударил прикладом. Атаман наверняка бы упал, но Короткий удержал его за ворот.

– Что ты делаешь?.. Ты же русский... – перебарывая боль, выдохнул он.

– Русский?! – запальчиво выкрикнул Длинный. – Мы славяне-арии, а вы грязный улус Орды. Так что не клейся в родственники...

«Боже, какая каша у них в голове... Славяне-арии... Это всё равно, что чукчи-дорийцы, – подумал он. – Кто им вдолбил в голову эту хрень?..»

– Из-за таких, как ты, я стыжусь, что я русский... – запальчиво произнёс Короткий.

– Не стыдись, ты не русский... ты алабай... – наконец расправляя колени, сказал Атаман.

– Ну-ка вперёд! – толкнул его в спину Длинный. – Пошёл!

– Нет, не пойду... – качнул головой Атаман. – Если сможете, тащите меня на себе. Если сможете...

Отходя на несколько шагов, Длинный достал рацию, начал говорить с кем-то:

– Только что взяли Атамана. Да, тот самый... Пришлите подкрепление... Да нет, не хочет идти. Не переть же на себе этот центнер...

«Значит, минут пять-десять у меня есть. Длинный занят разговором, остался один Короткий... Такого момента больше не будет...» – размышлял Атаман. Исподлобья он взглянул на противника, тот по-прежнему держал его правой рукой за ворот, левая с автоматом была отведена в сторону, значит, задействовать её он не сможет. «Сейчас... Если не сейчас, то всё... Лишь бы он не выронил автомат...» – промелькнуло в голове Атамана.

Атаман всем телом рванул назад, – воротник затрещал, но рука, держащая его, не ослабла, напротив, вцепилась ещё крепче. И тогда, неожиданно для своего противника, он в долю секунды сблизился с ним и успел вывернуть от себя автомат. Один за другим лязгнули одинокие выстрелы, и Длинный, прижав к груди рацию, стал медленно приседать. Скрючившись и повалившись на бок, он несколько раз дёрнулся всем телом и в глазах его застыло удивление.

Яростно сопротивляясь, Короткий, не выпуская из руки автомат, пытался оторваться от Атамана. Тот же хорошо понимал: отпустить Короткого хотя бы на пару шагов – неминуемая смерть. Этот безмозглый «славянин-арий» расстреляет его в ту же секунду, а умирать Атаман не спешил. Так они и плясали на одном месте, – один удерживал, другой из всех сил вырывался.

Атаман понимал: стоит ещё этому упрямому «Алабаю» продержаться какое-то время, и к нему подоспеет помощь, и тогда ему уже не спастись.

– Отдай автомат, и я тебя отпущу, – сказал Атаман.

– Скоро отпустишь... – хрипел Короткий. – Вон, уже едут наши...

Силы Атамана таяли, а соперник, казалось, был неутомим. Таща за собой Атамана, он с остервенелостью попавшего в капкан зверя метался из стороны в сторону. Наверняка он мог бы оказать и более достойное сопротивление, выпусти из левой руки автомат, но видимо он ещё надеялся им воспользоваться.

Где-то вдаль послышался рёв приближающегося УАЗа. Короткий воспрянул духом и стал сопротивляться с удвоенным неистовством.

«Ещё каких-нибудь пару минут, и мне не уйти...» – понял Атаман.

Он закружил Короткого вокруг себя, так, что ноги его повисли в воздухе. Не успел соперник коснуться земли, как Атаман захватил в объятия его мощную шею. Короткий крутанул головой, желая освободиться, но Атаман уже успел всунуть под его подбородок руку.

– Отдай автомат, и я оставлю тебя живым, – повторил он ему в самое ухо.

В ответ Короткий лишь дико зарычал что-то несвязное и стал биться ещё сильнее. Казалось ещё секунда – и он вырвется на свободу.

Атаман сцепил в замке руки.

– Брось автомат! – закричал он ему в затылок.

Уже не сопротивляясь, Короткий раз за разом нажимал на спусковой крючок.

Где-то у самого лица Атамана хлопали выстрелы.

«Своим подаёт сигнал», – догадался он и что есть силы сжал свои руки.

Атаману не хотелось убивать, но каким-то подспудным чутьём он понимал: чтобы выжить самому, ему всё же придётся удавить это по-звериному упрямое существо.

«Не зря тебя по-собачьи назвали!» – злясь на упорство Короткого, думал он.

Короткий быстро засучил ногами, вдруг всхрапнул и скоро затих.

– Эй! – ослабив руки, окликнул его Атаман.

Голова парня безвольно качнулась на бок, взмокшие волосы рассыпались по лицу.

– Эй... – снова позвал Атаман и похлопал по темным щекам недавнего соперника.

С каждым хлопком лицо парня безобразно перекашивалось то в одну, то в другую сторону.

Атаман встряхнул парня, прислонился к его груди.

– Вот же дурак! – в ярости прокричал он. – Я же просил тебя...

Где-то совсем близко скрипнули тормоза, послышались приглушённые голоса, звяк оружия.

С трудом вдохнув в себя воздух, Атаман поднялся на ноги, спотыкаясь и падая, побрёл сквозь густую чащу к реке, теперь уже видя только лишь в ней своё спасение. Если б была погоня, его наверняка бы догнали, но чужие голоса людей не продвинулись дальше места его схватки. Они ещё не знали чужой им местности и, видимо, боялись попасть в засаду. Уже у самой реки, он наконец осмотрелся. С удивлением увидел в своих руках автомат. Он всё-таки вырвал его из ослабевших рук своего соперника и всю дорогу волочил за собой. Атаман понимал, что там, на своей стороне, этот автомат будет ему не нужен. Он нашёл глазами ствол упавшего тополя, уже полусгнившего, покрытого лишайниками и мхами, засунул под него свой трофей, засыпал сухой корой.

«Может, когда-нибудь пригодится...» – подумал он.

Тут силы окончательно покинули его. В сердце запекло, забулькало, и ему стало нестерпимо душно. Разодрав на горле рубаху, он в каких-то невероятных конвульсиях добрёл до реки и уже ничего не помня, ступил в воду. У противоположного берега кто-то подал ему руку. Ничего не соображая, он вышел на мокрый песок.

– Атаман, ранен? – услышал он чей-то голос.

С трудом он поднял глаза.

– А, старлей... – прохрипел он. – Старлей...

– Ты ранен?

– Ранен... – кивнул Атаман и, спотыкаясь, пьяно побрёл по-над рекой к дому.

Где-то на полпути он неожиданно ткнулся головой в мягкую грудь жены. Виктория обхватила его, прижала к себе.

– Ты чего?.. – отстранив её, удивлённо спросил Атаман.

– Там стреляли...

– Стреляли?.. – вновь искренне удивился он.

– Стреляли...

– Ах да... Это на магистралях...

Зачем-то Атаман попытался вспомнить сившийся накануне сон, но как ни старался, ни один образ не всплыл в его памяти.

Доковыляв по дома, Атаман слёг и несколько суток не поднимался с постели. Он не ел, не пил, даже не спал. У него ничего не болело, но всё время не доставало воздуха. От этого его мучило и рвало, а так как рвать было нечем, казалось, что вот-вот он выплеснет из себя все свои внутренности. Виктория влажным полотенцем утирала его почерневшее лицо, а он конвульсивно отмахивался руками и в бреду повторял одно и то же:

– Господи, как я устал!.. Почему?.. Как могло это статься?.. Такие ж русские мальчишки, такие ж кресты на груди... И вдруг... Что нужно было сделать с их мозгами, чтоб они вдруг увидели себя ариями, а нас грязным улусом Орды?.. Как я устал...

* * *

– Маруся... – далеко за полночь тихо позвал Иван Власович.

– Вот она я, – склонилась над ним Мария. – Может, поешь чего? Ты за вчерашний день и крошки не взял...

Старик отрицательно качнул головой.

– У меня узварчик настоящий, холодненький, как ты любишь...

Вновь старик качает своей головой, и белые прядки волос рассыпаются по его восковому лбу.

– С грушами... – продолжает уговаривать жена. – Ты ж любишь с печёными грушами...

– Батюшку привезли? – чуть слышно шепчет Иван Власович.

– Послали к Антонию, а его нет, в отъезде... – отчитывается Мария. – К завтраму должен обернуться, – говорит она, словно оправдываясь.

– К завтраму не успеет... – шепчет старик.

– А ты потерпи... Куда тебе спешить?

– Маруся, помолчи, – просит старик. – Я шас покаюсь тебе, а ты слово в слово Антонию перескажешь. С грехами тяжко и боязно...

– Тю на тебя! – всплёскивает Мария. – Какие ж там грехи – ты весь на ладони...

Мария хотела ещё что-то добавить, но ей вспомнилась Людмила, и она умолкла.

– Ты думаешь, только Людмила?... – словно читая её мысли, шепчет старик. – Людмила-Людмила... Как придёт, скажи, прощения её спрашивал... А ещё...

По щеке старика скользнула слеза, разбилась о колючий подбородок.

– Чего ещё ей сказать? – уже без ревности спрашивает Мария.

– Скажи, прощения спрашивал, – вновь повторил старик и надолго умолк.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.